

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.

Реализация

проектов

заселения

сельской

местности и

сельскохозяйствен

ного производства

- Реализация проектов заселения сельской местности и сельскохозяйственного производства
- 6. Советская коллективизация, капиталистические мечты
- Советско-американский фетиш: индустриальное сельское хозяйство
- Коллективизация в советской России
- Государственные образцы контроля и присвоения
- Пределы авторитарного высокого модернизма
- 7. Принудительное переселение в деревни в Танзании: эстетика и миниатюризация
- Колониальное высокомодернистское сельское хозяйство в Восточной Африке
- Деревни и «усовершенствованное» сельское хозяйство в Танзании перед 1973 г.
- «Приказано жить в деревнях»
- «Идеальная» государственная деревня: эфиопская разновидность
- Заключение
- 8. Приручение природы: четкое и упрощенное сельское хозяйство
- Разновидности сельскохозяйственного упрощения
- Катехизис высокомодернистского сельского хозяйства
- Модернистская вера и местная практика
- Ведомственные отношения в высокомодернистском сельском хозяйстве
- Упрощающие предположения сельскохозяйственной науки
- Упрощенные методы научного сельского хозяйства
- Сравнение двух сельскохозяйственных логик
- Заключение

Реализация проектов заселения сельской местности и сельскохозяйственного производства

Понятность объекта является условием эффективности направленного на него воздействия. Любое сколько-нибудь существенное вмешательство в жизнь общества — вакцинация населения, производство товаров, трудовая мобилизация, налогообложение лиц и их имущества, проведение кампаний по борьбе с неграмотностью, призыв на военную службу, проведение в жизнь санитарных норм, поимка преступников, введение всеобщего школьного образования — требует разработки наглядных единиц измерения. Этими единицами могут быть граждане, деревни, деревья, поля, дома или люди, сгруппированные по возрасту, в зависимости от типа воздействия на общество. Какими бы единицами измерения ни приходилось оперировать, они должны быть выбраны так, чтобы их можно было распознать, наблюдать, регистрировать, подсчитывать, группировать и проверять. Уровень требуемых знаний должен приблизительно соотноситься с размером вмешательства. Иными словами, чем больше масштаб предполагаемого вмешательства, тем больше должна быть четкость его осуществления.

К середине XIX в. полного расцвета достигло явление, которое, вероятно, имел в виду Прудон, когда говорил: «Быть управляемым — значит подвергаться слежке, инспектированию, шпионству, регулированию, индоктринации, поучению, перечислению и проверке, прикидке, оценке, цензуре, предписанию... Быть управляемым в каждом действии, сделке, движении, быть замеченным, зарегистрированным, подсчитанным, оцененным, предупрежденным, не допущенным, улучшенным, восстановленным, исправленным»[454].

Кроме того, многое было достигнуто в искусстве управления современным государством, и Прудон сожалел об этом. Стоит подчеркнуть, что это «многое» трудно досталось и было само по себе не очень значительным. Ведь большинство государств «моложе», чем общества, которыми они претендуют управлять. Государства сопоставляются по типам поселений, социальных отношений и производства, не говоря уже о естественной

окружающей среде, которая в значительной степени отразилась на своеобразии государственных планов[455]. В результате появляется разнообразие, сложность и неповторимость социальных форм, структура которых (зачастую преднамеренно) трудна для понимания.

Представьте на мгновение образцы таких городских поселений, как Брюгге или medina старого средневосточного города, упомянутого ранее (см. гл. 2). Каждый город, каждый район и каждый квартал уникальны, все это — историческая векторная сумма миллионов замыслов и действий. Хотя их формы и функции, несомненно, имеют логику, эта логика не определяется единым общим замыслом. Их сложность трудно передать на карте. Кроме того, описание, даваемое любой картой, ограничено во времени и пространстве. Карта одного района не поможет в описании своеобразной запутанности другого, а описание, адекватное сегодня, через несколько лет не будет соответствовать действительности.

Если государство ограничивается минимальными целями, ему может и не потребоваться большой объем знаний об обществе. Как лесной житель, который, подбирая в большом лесу только попадающиеся по дороге дрова, не нуждается в детальном знании этого леса, так и государство, чьи интересы ограничиваются сбором нескольких лишних телег зерна и дополнительных призывников, не нуждается в очень точной и подробной карте. Однако, если государство имеет серьезные намерения, т. е. если ему требуется собрать столько зерна и трудовых ресурсов, сколько оно может собрать, даже рискуя вызвать голод или восстание, или если оно хочет иметь грамотное, квалифицированное и здоровое население, или если оно желает, чтобы все пользовались одним и тем же языком или поклонялись одному богу, тогда оно должно стать гораздо более осведомленным и гораздо более настойчивым. Каким же образом государство берет бразды правления обществом в свои руки?

Здесь и в двух последующих главах я буду особенно интересоваться логикой, скрытой за крупномасштабными попытками переустроить сверху сельскую жизнь и производство. Наблюдаемый из центра, с королевского двора или с позиции государственного чиновника, этот процесс часто описывался как «цивилизационный»[456]. Я предпочитаю рассматривать его как попытку приручения, одомашнивания, своего рода социальной перепланировки, созданной для того, чтобы сделать сельскую местность, ее продукцию и жителей более доступными для обозрения центром. В этих попытках приручения некоторые элементы кажутся если не универсальными, то по крайней мере очень общими, их можно назвать «закреплением оседлости», «концентрированием» и «радикальным упрощением» как расселения, так и обработки земель.

Исследуем подробнее две печально известные схемы упрощения в области сельского хозяйства — коллективизацию в советской России и деревни уджамаа в Танзании, чтобы определить как политическую логику разработки этих проектов, так и причины их многочисленных ошибок в качестве производственных схем. Но сначала рассмотрим пример из истории Юго-Восточной Азии, который раскрывает общность целей, присущую проектам доколониальных, колониальных и независимых режимов, а также возросшую способность современного государства реализовать подобные проекты запланированного заселения и производства.

Демографический процесс в доколониальной Юго-Восточной Азии был таков, что решение о контроле земли самой по себе, если только это не было стратегически важным устьем, перешейком или проливом, редко принималось в государственной структуре. Контроль населения — по грубым подсчетам, пять человек на квадратный километр в 1700 г. — значил куда больше. Ключ к успешному управлению государством обычно представлял собой способность привлекать и держать в пределах разумного радиуса существенную часть производительного населения. При относительной редкости населения и легкости его перемещения контроль пахотной земли был бессмысленным, если на ней не было людей, обрабатывающих ее. Доколониальное государство, таким образом, старалось попасть в промежуток между тем уровнем налогов и требований, который поддерживал амбиции данного монарха, и тем, после которого ускорялась массовая эмиграция населения из страны. Доколониальные войны чаще велись за захват пленных с последующим поселением их около правящего двора, чем за расширение территории. Растущее производительное население, селившееся вокруг столицы, было более надежным показателем мощи королевства, чем физическое пространство, которым владел король.

Доколониальное государство было очень заинтересовано в оседлости населения — в создании постоянных и долговременных поселений. Чем больше концентрация людей, производящих прибавочный продукт, тем легче присваивать зерно и рабочую силу, тем легче привлекать к военной службе. На очень грубом уровне эта детерминистская географическая логика представляет собой просто применение стандартных теорий поселения. Как достаточно полно продемонстрировали Иоханн Генрих фон Тюнен, Вальтер Кристаллер и Дж. Вильям Скиннер, экономика переселений при прочих равных условиях воспроизводит повторяющиеся географические образцы расположения рынка, специализации культур и административной структуры[457]. Политически присвоение рабочей силы и зерна подчиняется во многом такой же географической логике, предпочитающей концентрацию, а не рассеянность населения, и отражающей логику присвоения, основанную на транспортных затратах[458]. В этом контексте не удивительно, что большинство классических трудов об управлении государством посвящено методам привлечения и удержания населения на месте в обстановке, когда люди могут спастись бегством за границу или поселиться под крылом другого ближайшего государя. Выражение «голосовать ногами» имело буквальный смысл в большинстве стран Юго-Восточной Азии[459].

Традиционное тайское государственное управление успешно использовало совершенно особую методику для уменьшения побегов и прикрепления простых граждан к государству или к владельцам. В Таиланде применялась система татуировок простых граждан символами, поясняющими, кто кому «принадлежит». Такая система татуировок свидетельствует, что для выявления и закрепления популяции подданных, склонных «голосовать ногами», требовались исключительные меры. Побег был настолько обычным явлением, что большое число охотников зарабатывало на жизнь, прочесывая леса в поисках беглецов, чтобы вернуть их законным владельцам за щедрое вознаграждение[460]. С подобными же проблемами сталкивались католические монахи в первые годы испанского владычества на Филиппинах. Тагалы, которые были переселены для работы под надзором по латиноамериканской модели, часто сбежали из-за тяжелого труда. Их называли *remontados*, т.е. крестьяне, которые уходили «назад в горы», где они пользовались большей

самостоятельностью.

Вообще доколониальную и колониальную Юго-Восточную Азию было бы полезно описывать в терминах государственного и негосударственного пространства. В первом случае, если определять это очень приблизительно, подданные селились довольно плотно в полупостоянных общинах, производя прибавочное зерно (обычно рис-сырец) и пополняя рабочую силу, которые относительно легко присваивались государством. Во втором случае население было рассеяно, практиковало подсечно-огневую систему земледелия или чередование возделываемых земель (переложную систему), вело более смешанную экономику (например, выращивало разнообразные культуры или полагалось на собирательство) и было весьма подвижным, чем и спасалось от государственного присмотра. Государственные и негосударственные пространства просто не существовали раньше экологических и географических установлений, которые способствовали образованию государств или препятствовали ему. Главная цель потенциальных государей состояла в *создании*, а затем и расширении государственных зон путем постройки ирригационных сооружений, захвата пленных в войнах и принуждения их к поселению, кодификации их религии и т.д. Классическое государство стремилось концентрировать население в пределах легкой досягаемости, изымая и надежно доставляя в столицу зерно, облагая воинской повинностью и тем самым обеспечивая приток мужской силы для поддержания государственной безопасности в случае войны и проведения общественных работ.

Проницательная попытка Эдмунда Лича разобраться в границах Бирмы косвенным образом следовала этой логике в реконструкции ее традиционного государственного устройства. Он предложил рассматривать доколониальное Бирманское государство не как физически смежные территории, как мы теперь воспринимаем современные страны, а как сложную совокупность лоскутков, следующую совершенно противоположной логике. Нам нужно, настаивал он, представлять это королевство с помощью горизонтальных топографических слоев. По этой логике он представлял Бирму совокупностью *всех* оседлых производителей риса-сырца, живущих в долинах в пределах досягаемости центрального правления. Эти долины мы будем называть, как предложено, государственными зонами. Следующий горизонтальный слой местности, скажем пятьсот на полторы тысячи футов, дает совершенно другую экологию: его жители занимаются переложным земледелием, живут более рассеяно и потому менее надежные подданные. Они не считались неотъемлемой частью королевства, хотя могли регулярно посылать дань центральному двору. Еще более высокие возвышенности составили бы другие экологические, политические и культурные зоны. Лич, следовательно, как раз и предложил рассматривать как «королевство» все относительно густонаселенные места жительства рисоводов, находящиеся в пределах досягаемости столицы, а остальные, даже относительно близкие к центру, — как «негосударственные зоны»[461].

Роль государственного управления в этом примере состоит в увеличении производительного и оседлого населения в государственных зонах с одновременным сбором дани в негосударственных зонах или, по крайней мере, нейтрализацией их[462]. Эти не имеющие гражданства зоны всегда играли потенциально подрывную роль, как символически, так и практически. С точки зрения центра эти области и их жители были

примерами грубости, беспорядка и варварства, на фоне которых можно было оценить любезность, упорядоченность и опытность центра[463]. Само собой разумеется, такие области служили прибежищем беглых крестьян, мятежников, бандитов и претендентов на трон, которые часто угрожали королевству.

Конечно, различная высота природных зон — только один фактор среди многих, которые могли бы характеризовать отличие негосударственных зон от государственных. Как правило, они проявляют одну (или больше) из следующих отличительных особенностей: они относительно недоступны (дикая природа, отсутствие или запутанность дорог, неприветливость жителей), население их рассеянное или кочующее, эти места неперспективны для капиталовложений[464]. Таким образом, болота и топи (кто-то подумает об Арабских болотах на границе Ирана и Ирака), постоянно меняющиеся рукава дельт рек, горы, пустыни (предпочитаемые кочевыми берберами и бедуинами), море (убежище для так называемых морских цыган южной Бирмы) и вообще все границы служили «негосударственными зонами» в том смысле, который я вложил в этот термин[465].

Современные системы развития в Юго-Восточной Азии или в любом другом месте требуют создания государственных сфер, где правительство может преобразовать общество и экономику тех, кто должен быть «развит». Такое преобразование распространено повсеместно и зачастую протекает болезненно для жителей таких мест. В содержательном докладе Анны Лоуэнхопт Тсинг о попытках индонезийского правительства захватить кочевых мератус (горных жителей острова Калимантан) описывается поразительный в этом смысле случай. Мератус живут, как она подчеркивает, в таком месте, которое «до сих пор избегало доступности государственному взору, требуемому моделью развития». Кочевые охотники-собиратели, занимающиеся одновременно переложным земледелием, объединенные в постоянно изменяющиеся родовые общины, широко рассеянные по рассматриваемой территории и являющиеся в глазах остальных индонезийцев язычниками, мератус представляют собой трудный случай. Индонезийские чиновники попробовали сосредоточить их в запланированных деревнях вдоль главных дорог. Скрытая цель состояла в создании прикрепленного и сконцентрированного населения, которое чиновники, отвечающие за управление изолированных поселений, могли бы видеть и инструктировать при поездке по району[466]. Оседлость мератус была предпосылкой государственного надзора и развития, тогда как менталитет мератус как народа требовал «беспрепятственного передвижения»[467].

Недоступность мератус в смысле государственного развития в глазах чиновников была признаком их прискорбной отсталости. Предполагаемые цивилизаторы описывали их как «еще не готовых», «еще не организованных» (*belum di-atur*), как «еще не обращенных В Веру» (*belum berugama*), их методы возделывания земли представлялись ведением «беспорядочного сельского хозяйства» (*pertanian yang tidak ter-atur*).

В свою очередь, мератус быстро поняли сущность замыслов, которые имело в отношении их правительство. Их попросили поселиться вдоль основных дорог через лес, с одним местным начальником для надзора, «чтобы правительство могло видеть людей». Мератус были уверены, что группы домов, в которых им предложили поселиться, предназначались «для показа чиновникам, если те явятся с визитом»[468]. Рассуждения индонезийского

правительства о развитии, прогрессе и цивилизации народа мератус были лишь прикрытием сводного проекта упрощения и концентрации.

Логическим заключением усилий резко разграничить государственные и негосударственные сферы реально может стать революция. Четко определенные, легко проверяемые и патрулируемые государственные зоны, такие как форты, вооруженные поселения или лагеря для интернированных, нужны при угрозе войны. Современные примеры можно найти в так называемых новых деревнях в Малайзии в период чрезвычайного положения после Второй мировой войны, которое было введено специально для изоляции мелких китайских собственников и коренного населения, производящего каучук, чтобы воспрепятствовать обеспечению людьми, продовольствием, наличными деньгами и поставками значительного китайского партизанского движения вдали от внутренних районов страны. В организованных поселениях, позже послуживших образцом «стратегических деревушек» во Вьетнаме, принужденные к повиновению жители были расквартированы в одинаковых пронумерованных домах, выстроенных прямыми рядами[469]. Передвижение населения в деревне и за ее пределами строго проверялось. Людям достаточно было сделать лишний шаг, чтобы оказаться в одном из концентрационных лагерей, построенных в военное время для создания и поддержания четкой, ограниченной и *сконцентрированной* государственной зоны, изолированной от внешнего мира настолько, насколько это возможно. Там прямой контроль и дисциплина были важнее, чем присвоение продуктов труда. В недавние времена предпринимались беспрецедентные попытки, направленные на то, чтобы охватить негосударственные зоны влиянием государства. Во всяком случае этим пытались объяснить многочисленное использование химреактива «Орэндж» для уничтожения больших лесных массивов в период Вьетнамской войны, делая тем самым местность доступной для наблюдения и безопасной (для правительственных сил, разумеется).

Концепция государственных зон, соответственно измененная для условий рыночной экономики, может также помочь разрешить очевидный парадокс в колониальной аграрной политике в Юго-Восточной Азии. Как объяснить в колониальных условиях решительное предпочтение плантаций мелким фермам? Почва, конечно, не может существенно влиять на выбор формы ведения хозяйства. Мелкие арендаторы, как показывает история, могли соревноваться с плантаторами по выпуску больших объемов продукции почти любой культуры, за исключением, может быть, сахарного тростника[470]. Время от времени колониальные государства обнаруживали, что мелкие производители благодаря низким затратам и гибкому использованию рабочей силы семьи могут продавать продукцию дешевле, чем плантаторы.

Я уверен, что парадокс будет в значительной степени разрешен, если рассматривать «эффективность» плантации как единицы налогообложения (налоги на прибыль и различные экспортные пошлины), трудовой дисциплины, надзора и политического контроля. Возьмем, например, производство каучука в колониальной Малайзии. В начале резинового бума в первом десятилетии XX в. британские чиновники и инвесторы не сомневались, что производство каучука на плантациях, где имелось лучшее заводское оборудование, лучшая научная организация труда и более доступная рабочая сила, окажется более производительным и выгодным, чем организованное мелкими арендаторами[471]. Обнаружив свою ошибку, чиновники все равно упорно настаивали на своем предпочтении

производства каучука на плантациях, что обходилось довольно дорого экономике колонии. Позорная система Стивенсона в Малайзии в период мирового спада экономики представляла собой явную попытку ограничить мелкого арендатора и сохранить убыточное производство резины на плантациях. В противном случае разорились бы многие плантации.

Дело в том, что, защищая частный сектор, колонизаторы соблюдали интересы своих соотечественников, но это была только одна из причин, объясняющих их политику. Если бы эта причина была главной, можно было бы ожидать политики свертывания независимости страны. Как мы вскоре увидим, этого не произошло. Плантации, хотя и менее производительные, чем мелкое землевладение, были гораздо удобнее в качестве единиц налогообложения. Владельцев больших, легально находящихся в собственности производств было легче контролировать и облагать налогом, чем множество мелких производителей, которые сегодня здесь, а завтра там, и чья земельная собственность и прибыль скрыты от государства. Поскольку плантации специализировались на отдельных культурах, очень просто было оценить их производство и прибыль. Второе преимущество производства каучука на плантациях состояло в том, что оно обычно обеспечивало централизованные формы проживания рабочих и гораздо лучшее их подчинение политическому и административному контролю. Одним словом, для властей плантации были предпочтительнее, чем малайзийские *kampung*, которые имели свою собственную историю, руководство и смешанную экономику.

Аналогичную логику можно применить к введению федеральных схем землепользования в независимой Малайзии. Почему в 60-е и 70-е годы XX в. это государство решило организовать большие, дорогостоящие, подвергаемые бюрократической проверке населенные пункты, когда через границу уже активно прокладывали путь многочисленные добровольные переселенцы? Пионерские поселения не стоили государству ничего, однако основывали жизнеспособные домашние предприятия, выращивая и продавая урожай. Гигантские предприятия по производству резины и пальмового масла имели мало смысла как экономические проекты, установленные правительством. Они были чрезвычайно дорогими в организации, расход капитала на каждого поселенца был намного большим, чем тот, который вложил бы в дело любой бизнесмен.

Однако с политической и административной стороны эти большие, подчиняющиеся централизованному планированию и централизованно управляемые правительственные системы имели многочисленные преимущества. В те времена, когда еще были свежими впечатления малайзийских правителей от революции, возглавляемой коммунистической партией, плановые поселения имели преимущества стратегических деревень. Они были построены в соответствии со схемой простой сетки и были сразу понятны новым чиновникам. Дома были пронумерованы последовательно, а жители зарегистрированы и контролировались гораздо чаще, чем в открытых приграничных районах. Малайзийские поселенцы могли быть и действительно были тщательно отобраны по возрасту, умениям, политической благонадежности; деревенские жители государства Кеда, где я работал в конце 70-х годов XX в., понимали, что, если они хотят быть отобранными для планового поселения, им нужна рекомендация от местного деятеля правящей партии.

Административные и экономические условия малайзийских поселенцев были сравнимы с условиями «товарищеских городов» времен ранней индустриализации, где каждый работал на той же работе, получал зарплату от того же хозяина, жил в общежитии и отоваривался в той же самой фабричной лавке. Пока культуры на плантациях не созрели, поселенцам выплачивалась заработная плата. Их продукция сбывалась через государственные каналы, они могли быть уволены за нарушение любого из большого числа правил, установленных чиновниками. Экономическая зависимость и прямой политический контроль означали, что такие схемы могли регулярно воспроизводиться для обеспечения избирательного большинства правящей партии. Коллективный протест был редок, и обычно администрация имела санкции для его подавления. Само собой разумеется, что поселения Федерального управления земельного развития (FELDA) позволяли государству контролировать разнообразие экспортных культур, проверять производство и технологический процесс обработки, а также устанавливать цены производителя для получения дохода.

Логическое обоснование существования плановых поселений всегда представлялось публике как забота об организованном развитии и социальных службах (таких, как обеспечение здравоохранения, улучшение санитарных условий, современное жилье, образование, очистка воды и инфраструктура). Публичная риторика не была преднамеренно неискренней, однако она обманчиво умалчивала о разнообразии путей, с помощью которых организованное развитие этого типа обслуживало важные цели обеспечения безопасности и политической гегемонии, что было невозможно поддерживать в автономных приграничных поселениях. Схемы FELDA были «мягкими» гражданскими версиями новых деревень, задуманными как часть противомятежной политики. Дивиденды, которые они платили, приносили меньше экономической прибыли, чем остальные государственные зоны.

Государственные планы прикрепления населения к определенному месту и запланированного расселения редко выполнялись так, как предполагалось, — будь то в Малайзии или в любом другом месте. Как и в случае научного леса или города-сетки, результат обычно получался совершенно иной, нежели тот, к которому стремились изобретатели, несмотря на хорошо налаженный контроль. Не следует, однако, забывать и тот факт, что влияние этих преобразований, к тому же изменяемых местной ситуацией, зависит от того, на смену чему они приходят, а не только от того, в какой степени они соответствуют своей собственной риторике.

Концентрация людей в запланированных поселениях никогда не могла создать то, что имели в виду государственные проектировщики, но она всегда разрывала и разрушала единство существовавших ранее сообществ, не имевших отношения к государству. Эти сообщества, нежелательные для государства по своим нормативным основаниям, вытеснялись, хотя они имели и хотели сохранить свою собственную уникальную историю развития, общественные связи, мифологию и способность к совместному действию. Поселение, образованное государством, по определению должно было сформировать свои источники единства и совместных действий с самого начала. Кроме того, это новое сообщество было лишено способности к перемещению и, следовательно, легче поддавалось внешнему управлению сверху[472].

6. Советская коллективизация, капиталистические мечты

Строители-подрядчики советского общества были больше похожи на Нимейера, проектировавшего Бразилиа, чем на барона Хаусманна, перестраивавшего Париж. Сочетание поражения в войне, экономического кризиса и революции породило в России ситуацию, очень похожую на расчищенный бульдозером пустырь, о каком мог только мечтать строитель государства. В результате получилась такая разновидность ультравысокого модернизма, который в своей отваге напоминал об утопических аспектах своей предшественницы — Французской революции.

Здесь не место подробно обсуждать советский высокий модернизм, да я и не самый осведомленный гид[473]. Моя цель — подчеркнуть культурные и эстетические элементы в советском высоком модернизме. Это, в свою очередь, подготовит почву для разбора прямой связи между советским и американским высоким модернизмом, которая заключалась в пристрастии к гигантским индустриальным фермам. В некоторых важных отношениях советский высокий модернизм не отличается резко от российского абсолютизма.

Эрнст Геллнер доказывал, что из двух аспектов эпохи Просвещения один утверждал суверенитет человека и автономность его интересов, а другой рекомендовал рационально организованную власть специалистов. Именно второй привлекал правителей «отсталых» государств. Он заключает, что эпоха Просвещения пришла в Центральную Европу как «скорее централизующая, чем освобождающая сила»[474].

Таким образом, в ленинском высоком модернизме сильный исторический отзвук нашло то, что Ричард Стайтс называет «административным утопизмом» русского самодержавия и его советников в XVIII и XIX вв. Этот проявился в преемственности систем организации населения (крепостные, солдаты, рабочие, чиновники), в работе учреждений, «основанных на иерархии, дисциплине, регламентации, строгом порядке, рациональном планировании, упорядочении окружающей среды и уровнях благосостояния»[475]. Санкт-Петербург Петра Великого, воплощение этой мечты в образе города, был размещен согласно строгому прямолинейно-радиальному плану на совершенно чистом месте. В соответствии с проектом его прямые бульвары были в два раза шире, чем самое высокое здание, которое, естественно, располагалось в геометрическом центре города. Фасад, высота и материал каждого здания отражали свое общественное назначение и место в иерархии, указывая на социальный статус его жителей. По сути, физическое расположение города было четкой картой его соответствующих социальных структур.

Санкт-Петербург имел много городских и сельских подоби́й. В правление Екатерины Великой князь Григорий Потемкин создал ряд образцовых городов (таких, как Екатеринослав) и поселений. Следующие два царя, Павел I Александр I, унаследовали страсть Екатерины к прусскому порядку и рациональности[476]. Их советник Алексей Аракчеев учредил образцовое поместье, в котором крестьяне носили униформу и выполняли сложные инструкции по содержанию и обслуживанию поместья, включая ведение «книги наказаний», содержащей записи о нарушениях режима. Это поместье было организовано на основе более смелого плана сети широко разбросанных и самостоятельных военных поселений, в которых к концу 1820-х годов уже проживало 750 тыс. человек. Эта попытка создать новую Россию, в которой не было бы беспорядка, подвижности населения вообще и постоянной смены приграничного населения, быстро сошла на нет в результате общественного сопротивления, коррупции и неэффективности. В любом случае задолго до того, как большевики пришли к власти, исторический пейзаж уже был засорен обломками крушения многих неудачных экспериментов авторитарного социального планирования.

Ленин и его союзники смогли выполнить свои высокомодернистские планы начиная почти с нуля. Война, революция и последующий голод привели к распаду дореволюционного общества, особенно в городах. Общий крах индустриального производства вызвал массовый отток населения из городов и фактический откат к бартерной экономике. Последовавшая четырехлетняя Гражданская война еще более основательно разрушила социальные связи и дала возможность большевикам, находившимся в трудном положении, попрактиковаться в методах «военного коммунизма»: реквизициях, законах военного времени, принуждении.

Работая на выровненном социальном ландшафте и упиваясь возможностью считаться, в соответствии с высокомодернистскими амбициями, пионерами первой социалистической революции, большевики мыслили глобальными категориями. Почти все, что они планировали, от городов и проектов отдельных зданий (Дом Советов) до больших строительных проектов (Беломорский канал) и позже больших индустриальных проектов первой пятилетки (Магнитогорск), не говоря уже о коллективизации, отличалось монументальными масштабами. Шейла Фицпатрик удачно назвала эту страсть к огромным размерам «гигантоманией»[477]. Сама же экономика была задумана как хорошо отлаженный механизм, где каждый будет просто производить товары по инструкции и в количестве, предписанном государственным статистическим управлением, как это предначертал Ленин.

Однако преобразование физического мира не было единственным пунктом в большевистской повестке дня. Они стремились к культурной революции и созданию нового человека. Представители советской интеллигенции были самыми преданными приверженцами этого аспекта революции. В деревнях проходили кампании по поддержке атеизма и борьбе с христианскими обрядами. Под большой словесный гром и шум были изобретены новые «революционные» похороны и брачные церемонии, настоятельно предложен ритуал «Октябрины» как альтернатива крещению[478]. Поощрялась кремация — рациональная, чистая и экономически выгодная процедура. Вместе с отделением церкви от государства прошла огромная и широко популярная кампания по ликвидации безграмотности. Архитекторы и социальные проектировщики изобрели новые коммунальные места проживания, разработанные для замены буржуазной модели семьи.

Общественное питание, прачечные и государственные услуги по присмотру за детьми обещали освободить женщин от традиционного разделения труда. Размещение жилья было явно предназначено для «социальной концентрации». Вперед выступил «новый человек» — большевистский специалист, инженер или чиновник, чтобы представить новый кодекс социальной этики, которая иногда называлась просто *культурой*. Превознося технологию и науку, эта культура ставила на первое место точность, ясность, деловитую прямоту, вежливую скромность и хорошие, неподчеркнутые манеры[479]. Такое понимание культуры, а также партийное стремление соответствовать духу времени, осознавать его (была даже такая лига «Время»), быть эффективным в работе, соблюдать режим работы, регулируемый по минутам, были блистательно и карикатурно изображены Евгением Замятиным в романе «Мы» и позже стали источником вдохновения Джорджа Оруэлла в его романе «1984».

Стороннего наблюдателя этой революции в культуре и архитектуре особенно поражает стремление всем вместе непосредственно осязать визуальные и эстетические измерения нового мира. Вероятно, наиболее показательные формы этого нового искусства можно увидеть в том, что Стайтс называет «фестивали-смотры», организованные культурным импресарио раннего Советского государства Анатолием Луначарским[480]. Он устраивал зрелища под открытым небом, в которых революция воспроизводилась в таком масштабе, что должна была казаться настоящей: с пушками, отрядами солдат, прожекторами, кораблями на реке, четырьмя тысячами актеров и тридцатью пятью тысячами зрителей[481]. В то время как действительная революция протекала во всей обычной неразберихе реальной жизни, ее изображение отличалось военной четкостью, а актеры были организованы во взводы и оснащены семафорами и полевыми телефонами. Подобно массовым физкультурным упражнениям, публичное зрелище выполняло заказ, имеющий целью и основной сюжетной линией изображение событий, якобы происходивших в прошлом, и предназначенных для того, чтобы поразить зрителя, а вовсе не отразить исторические факты[482].

Если в военных поселениях Аракчеева можно увидеть попытку создать желаемое по приказу, то, возможно, революция, изображенная Луначарским на сцене, была воплощением представлений о желаемых отношениях между большевиками и толпой пролетариев. Чтобы представить события в нужном свете, особых усилий не потребовалось. Когда сам Луначарский пожаловался, что из-за первомайских празднований приходится разрушать церкви, Лазарь Каганович, председатель Моссовета, ответил: «А моя эстетика требует, чтобы процессии демонстрантов от шести районов Москвы вливались в Красную площадь одновременно»[483]. В архитектуре, манерах, городском дизайне и в общественных обрядах заметно преобладал акцент на видимом, рациональном и дисциплинирующем внешнем фасаде[484]. Стайтс предполагает, что существует обратное отношение между этой внешней видимостью порядка и цели и анархией, которая на самом деле правила обществом: «Как и всегда бывает с утопиями, организаторы описали свой проект в рациональных, соразмерных терминах, математическим языком планирования, контрольных цифр, статистики, планов и точных команд. Как и в случае военных поселений, которым этот утопический план смутно подражал, его рациональный фасад прикрывал океаны нищеты, беспорядка, хаоса, коррупции и причудливости форм, которые он принес»[485].

Возможно, смысл утверждения Стайтса состоит в том, что при некоторых обстоятельствах то, что я называю миниатюризацией порядка, занимает место реальности. Фасад, эта маленькая, легко управляемая область порядка и подчинения, может превратиться в самоцель, внешняя сторона может выступать как представитель всей действительности. Конечно, миниатюризация и эксперименты в малом масштабе имеют важное значение в изучении больших явлений. Авиационные модели, построенные пропорционально размерам объекта и турбулентности потоков, — важные этапы проектирования новых самолетов. Но когда эти две стороны перепутаны — когда, скажем, генерал путает парадный плац с полем битвы, — последствия непременно бедственны.

Советско-американский фетиш: индустриальное сельское хозяйство

До обсуждения теории и практики советской коллективизации следует признать, что модернизация сельского хозяйства в огромном, даже национальном масштабе была частью убеждений, которые разделяли социальные инженеры и сельскохозяйственные проектировщики во всем мире[486]. Они были убеждены в том, что воплощают общее стремление к этой цели. Подобно CIAM, они поддерживали контакты друг с другом с помощью журналов, на профессиональных конференциях и выставках. Самые крепкие связи, полностью не утраченные даже во время «холодной войны», были между американскими агрономами и их российскими коллегами. Они работали в совершенно различных политических и экономических условиях, при этом русские завидовали американскому уровню капиталовложений, особенно в области механизации хозяйств, а американцы — политическим возможностям советского планирования. Степень их сотрудничества в создании нового проекта крупномасштабного рационального индустриального сельского хозяйства можно оценить следующим кратким перечислением их взаимодействий.

Высокий накал энтузиазма в связи с применением индустриальных методов в сельском хозяйстве Соединенных Штатов наблюдался примерно с 1910 по конец 1930-х годов. Основными приверженцами их были молодые сельскохозяйственные специалисты, находившиеся под влиянием тех или иных течений их прародительской дисциплины — промышленной инженерии, а более конкретно — под влиянием доктрины Фредерика Тейлора, проповедующего повременное изучение производственных операций. Тейлоровские принципы научной оценки физического труда, имеющие целью свести его к простым, повторяющимся операциям, которым мог быстро научиться даже неквалифицированный рабочий, могли быть достаточно успешны на фабрике, но их приспособление к разнообразным и изменяющимся требованиям сельского хозяйства было сомнительно[487]. Поэтому сельскохозяйственные инженеры, пересмотрев понятие сельского хозяйства как «фабрики продовольствия и волокна», и обратились к тем сторонам хозяйственной деятельности, которые было легче регламентировать[488]. Они пытались более рационально расположить корпуса ферм, стандартизировать механизмы и инструменты и механизировать обработку основных культур.

Профессиональное чутье сельскохозяйственных специалистов привело их к попытке скопировать, насколько это было возможно, черты современной фабрики. Это побудило их

настаивать на увеличении размеров типичного хозяйства, так, чтобы можно было организовать массовое производство стандартной сельскохозяйственной продукции, механизировать свои операции и тем самым, как предполагалось, значительно уменьшить стоимость единицы продукции[489].

Как мы увидим далее, промышленная модель применима не ко всему сельскому хозяйству в целом, а только к некоторым его видам, тем не менее она применялась без исключения ко всему — как вера, а не как научная гипотеза, которую надо подвергнуть критическому рассмотрению. В ведущем секторе промышленности все определяло модернистское доверие к внушительным масштабам централизации производства, стандартизированной массовой продукции и механизации, и казалось, что те же принципы сработают не хуже и в сельском хозяйстве. Много сил пришлось приложить, чтобы проверить это убеждение на практике. Возможно, самым смелым оказалось хозяйство Томаса Кемпбелла в штате Монтана, начатое — или, лучше сказать, основанное — в 1918 г.[490] Оно было индустриальным в нескольких аспектах. При продаже акций хозяйства акционерное общество рекламировало его как «индустриальное чудо», два миллиона долларов с населения помог собрать финансист Дж. П. Морган. Это гигантское хозяйство по производству пшеницы в штате Монтана занимало девяносто пять акров земли, большая часть которой арендовалась у четырех местных индейских племен. Несмотря на частную инвестицию предприятие никогда не получило бы землю без помощи и субсидий от Министерства внутренних дел и от Министерства сельского хозяйства Соединенных Штатов Америки (USDA).

Объявив, что ведение такого хозяйства приблизительно на 90% является инженерным делом и только на 10% — собственно сельским хозяйством, Кемпбелл приступил к стандартизации как можно большего числа операций. Он вырастил пшеницу и лен, две выносливые культуры, нуждающиеся только в небольшом уходе между посадкой и урожаем[491]. Земля в его ведении была сельскохозяйственным аналогом выглаженного бульдозером участка под Бразилиа. Эта естественно изобильная девственная почва не нуждалась в удобрениях. Топография также не ставила лишних препятствий: местность была плоской, без лесов, ручьев, камней, которые могли препятствовать плавному ходу машин по ее поверхности. Другими словами, выбор самых простых, наиболее стандартизируемых культур и аренда очень подходящего сельскохозяйственного участка были засчитаны в пользу применения индустриальных методов. В первый год Кемпбелл купил тридцать три трактора, сорок сноповязалок, десять молотилок, четыре комбайна и сто вагонов, большую часть года в хозяйстве работали приблизительно пятьдесят человек, а в страду он нанимал еще две сотни[492].

Здесь не место для хроники накопления состояния корпорации сельского хозяйства штата Монтана — во всяком случае, Дебора Фицджеральд уже блестяще выполнила эту работу[493]. Достаточно отметить, что засуха на втором году и прекращение государственной финансовой поддержки в последующий год привели к кризису, стоившему Моргану миллион долларов. Помимо погоды и цен перед хозяйством Кемпбелла стояли и другие проблемы: различия в почве, текучесть рабочей силы, недостаток квалифицированных изобретательных работников, не нуждающихся в особом руководстве. Хотя корпорация и просуществовала до смерти Кемпбелла в 1966 г., она не доказала, что индустриальные хозяйства превосходят семейные по эффективности и прибыльности.

Индустриальные хозяйства действительно имели достоинства по сравнению с мелкими, но они были другого плана. Их огромный размер давал им преимущества в доступе к кредиту, политическому влиянию (относительные налоги, дополнительная материальная поддержка и предотвращение лишения прав в случае просрочки платежей), маркетинге. Потери в квалификации работников и качестве труда восполнялись значительной политической и экономической помощью.

В 1920-х и 1930-х годах было организовано довольно много крупных индустриальных ферм, которые управлялись по научным принципам[494]. Некоторые из них стали пасынками экономической депрессии, оставившей банкам и страховым компаниям много хозяйств, которые они не могли продать. «Цепочки ферм», содержавшие шесть сотен хозяйств со вспомогательными службами, каждое из которых занимается одним видом деятельности (одно, скажем, опоросом свиноматок, другое — их вскармливанием, а в условиях современного «контрактного хозяйства» — и птицеводством), были весьма обычны, и покупка их была рискованным вложением капитала[495]. Они оказались не более конкурентоспособными с семейными хозяйствами, чем корпорация Кемпбелла. К, слову сказать, в них было столько вложено, что, учитывая их высокие фиксированные затраты в платежных ведомостях и процент на капитал, эти хозяйства становились уязвимыми при неблагоприятных кредитных условиях и более низких продажных ценах на тех территориях, где они были расположены. А семейная ферма могла потуже затянуть пояс или использовать другие крайние меры для выживания.

Наиболее поразительным для примирения американской мелкособственнической системы с гигантскими по масштабам хозяйствами и научным централизованным управлением было предложение Мордехая Езекиэля и Шермана Джонсона в 1930 г. Они выдвинули идею «национальной корпорации сельского хозяйства», которая объединит все фермы по вертикали, чтобы стать «способной развозить сельскохозяйственное сырье по всем индивидуальным хозяйствам страны, устанавливая цели производства и нормы, распределять машины, рабочую силу и капиталовложения и перевозить продукцию хозяйств из одного региона в другой для обработки и использования. Обладая поразительным подобием индустриальному миру, этот организационный план предлагал своего рода гигантскую конвейерную ленту»[496]. Езекиэл, без сомнения, находился под впечатлением своей недавней поездки по российским колхозам, которые, как и вся российская экономика, были поражены депрессией. Джонсон и Езекиэл были практически единственными в своем призыве к централизованному индустриальному и широкомасштабному сельскому хозяйству, что объяснялось не экономическим кризисом, а их уверенностью в неизбежности высокомодернистского будущего. Довольно показательно следующее выражение этой веры: «Коллективизация стоит на повестке дня истории и экономики. С позиции политики мелкий фермер или крестьянин является тормозом прогресса. Формально он так же отошел в прошлое, как и механики-кустари, которые когда-то собирали автомобили вручную в небольших деревянных сараях. Русские первыми ясно поняли это и приспособились к исторической необходимости»[497].

За этими восхищенными ссылками на Россию было меньше политической идеологии и больше разделяемой веры в высокий модернизм. Эту веру укрепляла и импровизированная высокомодернистская обменная программа. Многие российские агрономы и инженеры

приехали в Соединенные Штаты, которые они считали Меккой индустриального сельского хозяйства. Их образовательное путешествие по американским хозяйствам почти всегда включало посещение сельскохозяйственной корпорации Кемпбелла и встречи с Уилсоном, который в 1928 г. возглавлял факультет сельскохозяйственной экономики в государственном университете штата Монтана, а позже стал высокопоставленным чиновником в Министерстве сельского хозяйства при Генри Уоллесе. Русские были так восхищены хозяйством Кемпбелла, что обещали предоставить ему миллион акров земли, чтобы он в Советском Союзе продемонстрировал свои методы ведения сельского хозяйства[498].

Не менее оживленным было движение и в обратном направлении. Советский Союз приглашал американских специалистов для оказания помощи в разработке различных отраслей советского индустриального производства, включая производство тракторов и другой сельскохозяйственной техники. К 1927 г. Советский Союз уже закупил 27 тыс. американских тракторов. Многие из американских визитеров, как Езекиэл, восхищались советскими совхозами, которые к 1930 г. создавали впечатление возможности крупномасштабной коллективизации сельского хозяйства. Американцев впечатляли не только размеры совхозов, но и тот факт, что технические специалисты — агрономы, экономисты, инженеры, статистики — казалось, развивали российское производство по рациональным и эгалитарным направлениям. Обвал рыночной экономики на Западе в 1930 г. укрепил привлекательность советского эксперимента. Гости, проехавшие по разным направлениям России, вернулись в свою страну, полагая, что увидели будущее[499].

Как доказывают Дебора Фицджеральд и Льюис Файер, привлекательность коллективизации для американских сельскохозяйственных модернистов имела мало общего с марксистской верой или привлекательностью самого советского образа жизни[500]. «Она объяснялась тем, что советская идея выращивать пшеницу в индустриальных масштабах и индустриальным способом была аналогична американским предложениям о том, какое направление следует выбрать американскому сельскому хозяйству»[501]. Советская коллективизация продемонстрировала американским наблюдателям огромный проект, лишенный политических неудобств из-за американских демократических учреждений, «т.е. американцы рассматривали гигантские советские хозяйства как огромные экспериментальные станции, с помощью которых можно было испытать большинство радикальных идей увеличения сельскохозяйственного производства, особенно пшеницы. Многие стороны дела, о которых им хотелось узнать больше, просто не могли быть опробованы в Америке частично потому, что это слишком дорого стоило, частично потому, что у них не было в распоряжении фермерского участка подходящего размера, а частично потому, что многие фермеры и хозяйства были бы обеспокоены смыслом этого экспериментирования»[502]. Надежда была на то, что советский эксперимент будет значить для американской индустриальной агрономии приблизительно то же, что значил проект управления ресурсами долины Теннесси для американского регионального планирования: испытательный полигон и возможная модель для выбора.

Хотя Кемпбелл не принял советского предложения создать обширное демонстрационное хозяйство, другие сделали это. М.Л. Уилсону, Гаролду Уэйру (который имел большой опыт работы в Советском Союзе) и Ги Риджину было предложено спланировать огромное

механизированное хозяйство, специализирующееся на пшенице и располагающееся приблизительно на 500 тыс. акрах целинной земли. Уилсон писал своему другу, что это было бы самое большое механизированное хозяйство по производству пшеницы в мире. В гостиничном номере Чикаго за две недели 1928 г. они распланировали все: расположение хозяйства, рабочую силу, потребность в машинах, севооборот и жестко регламентированный график работы[503]. Тот факт, что, по их мнению, такое хозяйство *могло* быть запланировано в чикагском гостиничном номере, подчеркивает их основное допущение абстрактных ключевых решений и свободных от контекста технических взаимосвязей. Фицджеральд проницательно объяснила это: «Даже в США эти планы были бы слишком оптимистичными, поскольку они основаны на нереалистической идеализации природы и человеческого поведения. И поскольку планы показывали, что делали бы американцы, имея они миллионы акров ровной земли, много разнорабочих и обязательство правительства не жалеть расходов для поддержания целей производства, *планы были предназначены для какого-то абстрактного теоретического места*. Это сельскохозяйственное пространство, которое не было ни Америкой, ни Россией, ни каким-то другим реально существующим местоположением, повиновалось только законам физики и химии, не признавая никаких политических или экономических зависимостей»[504].

Гигантский *совхоз*, носящий имя «Верблюд», основанный ими около Ростова-на-Дону, на расстоянии тысячи миль к югу от Москвы, занимал 375 тыс. акров земли, которые предполагалось засеять пшеницей. Как экономический эксперимент этот совхоз оказался горьким провалом, хотя в первые годы он действительно производил огромные количества пшеницы. Причины подобной неудачи представляют для нас меньший интерес, чем тот факт, что большинство этих причин можно свести к понятию *контекста* — конкретной ситуации данного хозяйства, с которой оно не совладало. Хозяйство в отличие от составленного плана не было гипотетическим, абстрактным, вымышленным, а оказалось непредсказуемым, сложным и своеобразным, с собственной уникальной комбинацией почв, социальной структурой, административной культурой, погодой, политическими ограничениями, механизмами, дорогами, а также навыками работы и привычками его служащих. Как мы увидим, по типу провала это напоминало Бразилиа, типичный пример амбициозных высокомодернистских схем, для которых местное знание, практика и ситуация рассматриваются как несущественные или в лучшем случае раздражающие препятствия, которые следует обойти.

Коллективизация в советской России

“Здесь, Федор Федорович, ведь не механизм лежит, здесь люди живут, их не наладишь, пока они сами не устроятся. Я раньше думал, что революция — паровоз, а теперь вижу, нет...

Андрей Платонов. Чевенгур

Коллективизация советского сельского хозяйства была чрезвычайным, но показательным примером авторитарного высокомодернистского планирования. Она представляла собой беспрецедентное преобразование сельской жизни и производства, навязанное грубой силой, находящейся в распоряжении властей. Кроме того, чиновники, руководившие этим обширным преобразованием, ничего не знали об экологических, социальных и экономических условиях, что и подписало приговор сельской экономике. Они мчались вслепую.

Между 1930 и 1934 гг. советское правительство фактически вело войну в сельской местности. Сталин, поняв, что не может положиться на местные Советы в «ликвидации кулака» и коллективизации, послал в деревню 25 тыс. проверенных в сражениях городских коммунистов и пролетариев, имеющих полномочия реквизировать зерно, арестовывать сопротивляющихся и коллективизировать. Он был убежден, что крестьянство старалось подорвать основы Советского государства. В ответ на персональное письмо от Михаила Шолохова (автора «Тихого Дона»), тревожно сообщавшего о том, что крестьяне на Дону находятся на грани голодания, Сталин ответил: «Уважаемые хлеборобы вашего района (и не только вашего) провели «итальянскую забастовку» (итальянку), саботаж! Попытались сорвать поставку хлеба в города и Красную Армию. То, что саботаж был тихим и внешне безобидным (без кровопролития) не меняет того факта, что уважаемые хлеборобы вели по существу «молчаливую» войну против Советской власти. Войну голода, дорогой товарищ Шолохов»[505].

Число людей, потерянных в той войне, до сих пор остается предметом дискуссий, но, бесспорно, потери были ужасны. Как указывают некоторые современные российские источники, приблизительная оценка одних только списков убитых в результате «раскулачивания» и кампаний по коллективизации, а также умерших от последовавшего голода «по самым скромным оценкам» дает от 3 до 4 млн, а на самом деле — более 20 млн человек. Оценки были бы еще выше, если бы стал доступным какой-нибудь документ, заслуживающий большего доверия, что-нибудь вроде нового архивного материала. Число

смертей показывает, что уровень социального разрушения и насилия превышает тот, который был в Гражданскую войну, следовавшую непосредственно за революцией. Миллионы людей бежали в города или к границе, был значительно расширен позорный Гулаг, в сельской местности бушевали открытый бунт и голод, и более половины всего имевшегося в стране домашнего скота и тягловой силы было вырезано[506].

К 1934 г. государство «выиграло» войну с крестьянством. Если когда-либо победа в войне и заслуживала по праву определение «пирровой», то как раз эта. *Совхозы* (государственные хозяйства) и *колхозы* (коллективные хозяйства) потерпели неудачу в выполнении всех конкретных задач, поставленных Лениным, Троцким, Сталиным и большинством большевиков. Они провалили задачи подъема уровня производства зерна и создания изобилия дешевых пищевых продуктов для городских промышленных рабочих. Они не сумели стать технически эффективными и творчески работающими хозяйствами, о которых мечтал Ленин. Даже в сфере электрификации, ленинском критерии обновления, только один из 25 колхозов имел электричество накануне Второй мировой войны. Коллективизация сельского хозяйства никоим образом не создала «новых людей» в сельской местности и не уничтожила культурного различия между селом и городом. В течение следующих 50 лет урожаи многих культур с гектара были застойными или фактически ниже уровней, зарегистрированных в 1920-х годах или даже перед революцией[507].

На некотором другом уровне коллективизация, странным образом спланированная государством, была определенным успехом. Она предоставила грубый инструмент для достижения двойной цели традиционной государственной власти: управления и политического контроля. Хотя, возможно, советский колхоз и потерпел неудачу в производстве большого количества пищевых продуктов, зато он служил прекрасным средством, с помощью которого государство могло указывать, что сеять, как оплачивать работы селян, находить сбыт любому количеству производимого зерна и держать в политическом повиновении сельских жителей[508].

Большим достижением советского государства — если только это можно так назвать — в сельскохозяйственном секторе, прежде особенно неблагоприятном для регулирования и управления, была разработка социального и экономического ландшафта и создание на нем институциональных форм и производственных единиц, более приспособленных для контроля, управления и руководства сверху. В сельском обществе, которое унаследовало (и какое-то время поощряло) советское государство, приспешники царизма, крупные землевладельцы и чиновники-аристократы были уничтожены и заменены мелкими землевладельцами, зажиточными крестьянами, ремесленниками, частными торговцами, а также мобильными разнорабочими и деклассированными элементами[509]. Подобно ученым-лесоводам, большевики, поставленные перед лицом шумного, свободного и «безначального» сельского общества, трудноуправляемого и политически малоактивного, приступили к переделке своего окружения, преследуя несколько простых целей. На унаследованном пространстве они создавали новый ландшафт больших иерархических управляемых государством хозяйств, которым указывалось сверху, из центра, что сеять, спускались нормы поставок оборудования, население которых по закону было лишено мобильности. Изобретенная система прослужила почти 60 лет, постоянно затрачивая огромные средства на воспроизведение застоя, деморализации и экологической

катастрофы.

Все это время коллективизированное сельское хозяйство было менее обязано государственному плану, чем импровизациям, теневым рынкам, бартеру и изобретательности, которые частично компенсировали его неудачи. Точно так же, как «неофициальная Бразилиа», не обозначенная в официальных планах, появилась и сделала город жизнеспособным, в советской России появился набор неформальных методов, находящихся вне официальной командной экономики, а часто и вне советского законодательства, чтобы обойти часть колоссальных затрат и свойственной системе халатности. Другими словами, коллективизированное сельское хозяйство никогда не работало по сетке своих производственных планов и поставок.

Из нашего краткого отчета, кажется, ясно, что коллективизация сама по себе не была всецело делом Сталина, хотя он и несет ответственность за ее исключительную стремительность и жестокость[510]. Коллективизированное сельское хозяйство всегда было неотъемлемой частью большевистского плана будущего, и большая битва за ее претворение в жизнь в конце 1920-х годов вряд ли могла иметь какой-нибудь другой результат в свете решения неотступно следовать принудительному проекту индустриализации. Партийная высокомодернистская вера в большие коллективистские системы долго еще продолжала существовать после безрассудных импровизаций начала 1930-х годов. Эта вера, претендующая на собственную эстетику и научность, отчетливо прослеживается в еще одной сельскохозяйственной высокомодернистской фантазии: в хрущевском плане освоения целинных земель, начатом много позже смерти Сталина и после публичного осуждения его преступлений в период коллективизации. Удивительно, как долго продержались эта вера и эти структуры, несмотря на очевидность их многочисленных неудач.

Первый раунд: большевистское государство и крестьянство

“ Иногда мне кажется, что, если бы я мог убедить каждого говорить «приводить в порядок» каждый раз, когда он хочет употребить слово «освободить», и «мобилизация» вместо слов «реформа» или «прогресс», мне бы не пришлось писать пространные книги о взаимодействии правительства и крестьян в России.

Джордж Йени. Принуждение к мобилизации

В своей обстоятельной книге Йени писал о дореволюционной России, но то же самое он мог бы написать и о большевистском государстве. До 1930 г. в ленинской и царской аграрной политике было больше сходства, чем различия. Та же вера в реформу сверху и в большие механизированные фермы, открывающие путь к продуктивному сельскому хозяйству. И увы, тот же самый весьма высокий уровень невежества относительно сельской экономики во

всей ее сложности, доводящий власть до рейдов в сельскую местность для захвата зерна силой. Хотя эти черты сходства продолжали существовать даже после социальной ломки 1930-х годов, новым в движении к коллективизации была готовность революционного государства полностью переделать социальный ландшафт в аграрном секторе, чего бы это ни стоило.

Сельское общество большевистского государства оказалось более скрытным, сопротивляющимся, автономным и враждебным, чем то, с которым сталкивалась царская бюрократия. Если царские чиновники провоцировали открытое неповиновение и уклонение своими «жестокими методами московитов, собирающих дань» в течение Первой мировой войны[511] то были веские причины ожидать, что большевикам будет еще тяжелее в сельской местности при насильственном отборе зерна.

Сельская местность была враждебна большевикам, это факт, но эти чувства были более чем взаимны. Для Ленина, как мы видели, Декрет о земле, дарующий крестьянам землю, которую они и так захватили, был стратегическим маневром, чтобы купить спокойствие в сельской местности на период укрепления власти; он не сомневался, что мелкая крестьянская собственность в конце концов должна быть отменена в пользу больших коллективных хозяйств. Троцкий же считал, что чем скорее будет преобразовано и «урбанизировано» то, что он называл «Россией икон и тараканов», тем лучше. И для многих рядовых большевиков, лишь недавно ставших городскими, упразднение «темного и отсталого мира крестьянина» было «существенной частью их рождающейся личной причастности к рабочему классу»[512].

Крестьянство фактически было *terra incognita* для большевиков. Во время революции по всей России партия насчитывала всего 494 члена из «крестьян» (возможно, большинство из них представляла сельская интеллигенция)[513]. Большинство сельских жителей никогда не видели большевиков, хотя они могли быть хорошо наслышаны о декрете, подтверждающем собственность крестьянина на землю, которая и так была им захвачена. Единственной партией, имевшей приверженцев на селе, была партия социалистов-революционеров, благодаря своим популистским корням критиковавших ленинские авторитарные взгляды.

Под влиянием революционного процесса сельское общество стало более скрытным, а следовательно, и труднее поддающимся налогообложению. Уже прошел стремительный захват земли, ретроспективно названный «земельной реформой». После провала наступления в Австрии во время войны и последовавшего массового дезертирства большая часть земель мелкопоместного дворянства и церкви, как и «царской земли», фактически была захвачена крестьянством. У богатых крестьян, ведущих независимое хозяйство («хуторяне» столыпинской реформы), обычно насильно урезали землю до средних деревенских норм, и вообще сельское общество подверглось радикальному уплотнению. Самые богатые были выселены, и многие из бедноты впервые в своей жизни стали мелкими собственниками. Согласно одним данным, число безземельных сельских разнорабочих в России понизилось наполовину, а собственность крестьян в среднем повысилась на 20% (на Украине — на 100%). В итоге 248 млн акров земли крупных и мелких землевладельцев было конфисковано, почти всегда по местной инициативе, и отдано в крестьянскую собственность, которая теперь в среднем составляла около 70 акров на хозяйство[514].

С точки зрения чиновника — налогового или военного на призывном пункте — ситуация была почти непостижима. В каждой деревне разительно изменился статус землевладения. Предшествующие отчеты о землевладении, если они вообще существовали, были полностью непригодны в качестве руководства. Каждая деревня была во многих отношениях своеобразна, и, даже если ее и можно было в принципе сейчас «нанести на карту», мобильность населения и суматоха военного времени всегда почти гарантировали, что через полгода или даже раньше карта придет в негодность. Следовательно, сочетание мелкой земельной собственности, общественного землевладения и постоянных изменений, пространственных и временных, создавали непреодолимый барьер для любой, даже прекрасно отлаженной налоговой системы.

Еще два последствия революции в сельской местности доставляли трудности государственным чиновникам. Перед 1917 г. большие крестьянские хозяйства и крупные землевладельцы производили почти три четверти зерна, поступающего в продажу для внутреннего использования и на экспорт. Именно этот сектор экономики кормил города. Теперь его не было. Большое число оставшихся земледельцев большую часть своего урожая потребляли сами. Оставшуюся часть обычно не отдавали без борьбы. Новое, более равномерное распределение земли означало, что попытка изымать что-либо вроде царского «оброка» приведет большевиков к конфликту с мелкими и средними крестьянами[515].

Вторым и, возможно, решающим последствием революции было усиление решимости и способности крестьянских общин противостоять государству. Каждая революция создает временный вакуум власти, когда власть предыдущего режима разрушена, а революционный режим еще не утвердился по всей территории. Поскольку большевики были в основном горожанами и вели продолжительную войну, вакуум власти в большинстве сельских районов был заполнен необычным образом. Орландо Фиджес напоминает, что впервые деревни, хоть и в стесненных обстоятельствах, были свободны в устройстве своих дел[516]. Как мы уже знаем, сельские жители обычно силой выгоняли или поджигали мелкопоместное дворянство, захватывали землю (включая права обобществлять землю и леса) и насильно удерживали единоличников в коммунах. Деревни вели себя как автономные республики, хорошо относившиеся к красным, пока те утверждали местную «революцию», но стойко сопротивлявшиеся вооруженному сбору зерна, домашнего скота или мужчин, годных для военной службы. В этой ситуации крестьяне воспринимали неоперившееся большевистское государство (которое предъявлялось, как оно это часто делало, вооруженным грабежом) как колонизатора, угрожающего их недавно полученной автономии, ведущего войну за сельскую местность.

При политической атмосфере, существовавшей в сельской России того времени, даже правительство, имеющее детальную информацию о сельскохозяйственной экономике, поддержку на местах и сноровку в дипломатии, испытало бы большие трудности. Большевикам же недоставало всех этих трех условий. Налоговая система, основанная на доходе или состоянии, была возможна только при наличии имеющей силу кадастровой карты и современной переписи, но ни одного из этих документов не существовало. Кроме того, доход хозяйства, зависящий от урожая и цен, сильно различался от года к году, поэтому любой налог с дохода должен был быть исключительно чувствительным к этим условиям. Помимо того, новому государству было необходимо эффективное руководство —

кадры, так как царский государственный аппарат из местных чиновников, дворянства и специалистов в финансах и агрономии, которые все же справлялись со сбором налогов и зерна в период войны, хоть и в недостаточном объеме, оказался в значительной степени разрушенным. Прежде всего большевикам не хватало местных деревенских информаторов, которые могли бы помочь им найти дорогу во враждебном и непонятном окружении. Сельские Советы, которые, как предполагалось, будут играть эту роль, обычно возглавляли крестьяне, больше верные местным интересам, чем центру. Альтернативный орган — комитет сельской бедноты (комбед), представляющий сельский пролетариат в местных классовых битвах, — или был безоговорочно на стороне жителей, или втягивался в частые яростные конфликты с сельским Советом[517].

Непостижимость сельского мира для многих большевистских чиновников была результатом не просто их городского социального происхождения и сложности ситуации в деревне, но и осознанной местной политикой, проверенной в более ранних конфликтах деревни с мелкопоместным дворянством и государством. Местная община издавна уменьшала в отчетах пахотную землю и приписывала население, чтобы представить себя бедной и неспособной платить налоги настолько, насколько это было возможно[518]. В результате такого обмана в переписи 1917 г. площади пахотной земли в России было скрыто примерно на 15%. В дополнение к лесной земле, пастбищам и целине, которые крестьяне распахали ранее под зерновые, не отчитываясь о ней, теперь они были сильно заинтересованы в том, чтобы скрыть большую часть земли, которую они только что отобрали у помещиков и дворянства. Сельские Советы, конечно же, вели записи передаваемых в собственность участков земли, организуя общественные бригады по вспашке, распределяя пастбища и т. д., но ни одна из этих ведомостей не была доступна ни чиновникам, ни комбеду. Популярное высказывание того времени прекрасно отражало ситуацию: крестьянин «приобретал землю по декрету» (т. е. по Декрету о земле), но «жил тайно».

Как же государство в столь трудном положении находило дорогу в этом лабиринте? Где было возможно, большевики старались организовать крупные государственные или коллективные хозяйства. Многие из них были просто «потемкинскими колхозами», предназначенными для того, чтобы придать видимость законности существующим методам. Там же, где не было жульничества, такие хозяйства показали политическую и административную привлекательность радикального упрощения землевладения и налогооблагаемой единицы в сельской местности. Вывод Йенио логичности такого хода дел абсолютно точен:

“ С технической точки зрения намного легче было пахать большие площади земли, не обращая внимания на индивидуальные различия, чем закреплять участок за каждой семьей, измерять ее площадь традиционным крестьянским способом и затем с трудом перекраивать разрозненные полосы в объединенную землю хозяйства. К тому же столичный администратор предпочитал контролировать и облагать налогами большие производственные единицы и не хотел иметь дело с отдельными фермерами... Коллективные хозяйства имели двойную привлекательность

для истовых аграрных реформаторов. Они представляли социальный идеал для риторических целей и в то же самое время, казалось, упрощали технические проблемы земельной реформы и государственного контроля[519].

В сумятице 1917—1921 гг. удалось провести немного подобных аграрных экспериментов, но все они потерпели горькую неудачу. Однако все это было пустяком в сравнении с кампанией всеобщей коллективизации, проведенной десятилетием позже.

Не сумев переустроить деревенский уклад, большевики обратились к тем же методам принудительного сбора дани, которыми пользовались их царские предшественники во время войны. Однако термин «военное положение» все-таки выражает подчинение каким-то законам, что напрочь отсутствовало в существовавшей практике. Вооруженные банды (отряды) — некоторые имеющие полномочия, а другие сформировавшиеся спонтанно из числа голодных горожан — грабили сельскую местность в период хлебного кризиса весной и летом 1918 г., выгребая все, что можно. Установленные чисто формально нормы поставок зерна, представлявшие собой «механические бухгалтерские цифры, порожденные ненадежной оценкой пашни и предположениями о хорошем урожае», с самого начала были «вымышленными и невыполнимыми»[520]. Сбор зерна скорее напоминал грабеж и воровство, чем покупку и доставку. По одной из оценок, эта ситуация породила более чем 150 отдельных бунтов против конфискации зерна государством. С тех пор, как большевики в марте 1918 г. переименовали себя в коммунистическую партию, многие мятежники заявляли, что они за большевиков и Советы (их они связывали с Декретом о земле) и против коммунистов. Ленин, упоминая крестьянские восстания в Тамбове, на Волге и на Украине, заявил, что они представляли собой большую угрозу, чем все белые, взятые вместе. Отчаянное крестьянское сопротивление выкашивало голодом города[521], и в начале 1921 г. партия впервые обратила оружие против восставших моряков и рабочих Кронштадта. С этого момента осажденная партия объявила тактическое отступление, отказавшись от политики «военного коммунизма», и начала проводить новую экономическую политику (нэп), поощрявшую свободную торговлю и мелкую собственность. Фиджес отмечает, что «победив белую армию, поддержанную восемью западными державами, большевистское правительство капитулировало перед собственными крестьянами»[522]. Это была победа голода. Количество смертей от голода и эпидемий в 1921—1922 гг. почти сравнялось с общими потерями в Первой мировой и Гражданской войне, вместе взятыми.

Второй раунд: высокий модернизм и поставки

Сочетание высокомодернистской веры в то, как должно выглядеть сельское хозяйство в будущем, и более чем внезапного кризиса государственной формы присвоения подтолкнуло большевиков к политике развернутого и решительного наступления коллективизации зимой 1929—1930 гг. Сосредоточившись на этих двух вопросах, мы вынуждены оставить другие (а их множество) захватывающие проблемы: человеческие потери в коллективизацию, борьбу с «правой» оппозицией во главе с Бухариным, и вопрос о том, намеревался ли Сталин ликвидировать украинцев и украинскую культуру.

Нет сомнений, что Сталин разделял ленинскую веру в индустриальное сельское хозяйство. Цель коллективизации, как он сказал в мае 1928 г., была в «переходе от мелких, отсталых и разрозненных крестьянских хозяйств к объединенным, большим общественным хозяйствам, обеспеченным машинами, оснащенным научными данными и способным произвести большее количество зерна для рынка»[523].

В 1921 г. эта мечта была отложена. Существовала некоторая надежда, что постепенно расширяющийся государственный сектор в 1920-х годах сможет обеспечить почти треть потребности зерна для страны. Вместо этого коллективизированный сектор (как государственные хозяйства, так и коллективные), поглощавший 10% рабочей силы, производил удручающие 2,2% валового продукта[524]. Когда Сталин решился на программу индустриализации, потерпевшую впоследствии крах, было ясно, что существующий социалистический сельскохозяйственный сектор не может обеспечить ни быстро увеличивающихся в числе городских рабочих продовольствием, ни страну зерновым экспортом, необходимым для финансирования импортируемой технологии для индустриального развития. Средняки же и зажиточные крестьяне, многие из которых впервые разбогатели в период новой экономической политики, имели зерно, в котором так нуждался Сталин.

Начиная с 1928 г. официальная политика реквизиций ввергла государство в противоборство с крестьянством. Спущенная сверху оптовая цена на зерно составляла одну пятую от рыночной, а поскольку сопротивление крестьян было упорно, власти вернулись к использованию полицейских методов[525]. Когда поставки зерна стали нерегулярными, те, кто отказывался сдать требуемое (и кто вместе с противостоящими коллективизации были названы кулаками, независимо от их экономического положения), были арестованы и высланы или уничтожены, а все принадлежавшее им зерно, инвентарь, земля, домашний скот проданы. В приказах ответственных за поставку зерна оговаривалось, что следует устраивать собрания бедных крестьян, чтобы показать, будто инициатива шла снизу. Принятое в конце 1929 г. решение проводить силой «тотальную» (сплошную) коллективизацию было логическим следствием войны за зерно, а не тщательно спланированной политической инициативой. Исследователи единодушны в одном: наиважнейшей целью коллективизации было обеспечить конфискацию зерна. Фицпатрик начинает свою научную работу о коллективных хозяйствах следующим утверждением: «Главная цель коллективизации состояла в увеличении государственных поставок зерна и уменьшении способности крестьянства придерживать зерно от сбыта на рынке. Крестьянам с самого начала была очевидна эта цель, так что наступление коллективизации зимой 1930 г. стало кульминационным моментом в более чем двухгодичной ожесточенной борьбе за зерновые поставки между крестьянством и государством»[526]. Мнение Роберта Конкеста совпадает с этим: «Коллективные хозяйства по существу были механизмом, разработанным для извлечения зерна и других продуктов»[527].

Большинство крестьян, судя по их решительному сопротивлению и, насколько нам известно, по их взглядам, видело это в том же свете. Конфискация зерна угрожала их существованию. Изображенный в романе Андрея Платонова о коллективизации крестьянин понимает, что конфискация зерна отрицает предшествующую земельную реформу: «Это — хитрое дело. Сначала вы раздаете землю, потом отбираете зерно вплоть до последнего зернышка. Вы

можете удушить на земле подобным образом! У мужика не остается ничего с земли кроме горизонта. Кого вы дурачите?»[528] Безусловно, это было так, потому что крестьянство могло потерять тот небольшой запас социальной и экономической самостоятельности, которого оно добилось с момента революции. Даже беднейшие крестьяне боялись коллективизации, потому что «это повлекло бы за собой отказ от земли и инвентаря, работу вместе с другими семьями по указаниям начальства, не временную, как в армии, а навсегда — это означает казарменное положение на всю жизнь»[529]. Не имея сколько-нибудь значимой поддержки села, Сталин послал 25 тыс. «уполномоченных» (членов партии) из городов и с фабрик, чтобы любой ценой «уничтожить крестьянские коммуны и заменить их коллективной экономикой, подчиняющейся государству»[530].

Авторитарная теория высокого модернизма и практика крепостничества

Если движение к «сплошной» коллективизации непосредственно вдохновлялось стремлением партии раз и навсегда захватить землю и выращенный на ней урожай, то это намерение было пропущено через линзы высокого модернизма. Расходясь во мнениях относительно способов достижения этого, большевики действительно были уверены, что точно знают, как в результате должно выглядеть сельское хозяйство, их понимание было столь же зримым, сколь и научным. Современное сельское хозяйство должно быть крупномасштабным — чем больше, тем лучше, оно должно быть высокомеханизированным и управляться в соответствии с научными тейлористскими принципами. Самое главное, земледельцы должны походить на высококвалифицированный и дисциплинированный пролетариат, а не на крестьянство. Сталин сам, еще до практических неудач, дискредитировавших веру в гигантские проекты, одобрял коллективные хозяйства («фабрики зерна») площадью от 125 тыс. до 250 тыс. акров, как в описанной ранее американской системе[531].

Абстракциям утопической мечты соответствовало во всех отношениях безумное, нереалистическое планирование. При наличии карты, сделав несколько допущений относительно масштаба и условий механизации, специалист мог разработать любой план и осуществить самую поверхностную привязку к местным условиям. Вернувшийся в Москву с Урала сельскохозяйственный чиновник писал в своем докладе в марте 1930 г.: «На инструктировании районного Исполнительного Комитета двенадцать агрономов в течение двадцати дней составляли эксплуатационно-производственный план для несуществующей районной коммуны, ни разу не оставив своих кабинетов и не выехав в поле»[532]. Когда еще одно бюрократическое чудовище в Великих Луках на западе страны оказалось слишком громоздким, планировщики просто уменьшили масштаб, ничем больше не пожертвовав в абстрактном творении. Они разделили план в 80 тыс. га на тридцать два равных квадрата по 2500 га каждый, по одному квадрату на колхоз. «Квадраты были отмечены на карте без какой-либо ссылки на существующие деревни, поселения, реки, холмы, болота или какие-то другие демографические и топографические характеристики земли»[533].

Чисто семиотически невозможно понять как изолированный идеологический фрагмент эту модернистскую мечту о сельском хозяйстве. Она всегда видится как отрицание ныне

существующего сельского мира. Колхоз означает замену деревни, машины — замену конных плугов и ручного труда, пролетаризированные рабочие — замену крестьян, научное сельское хозяйство — замену народных традиционных методов и суеверий, образование — замену невежества и *бескультурия*, а изобилие — замену существованию впроголодь. Провозглашение коллективизации означало конец крестьянству и его образу жизни. Установление социалистической экономики повлекло за собой культурную революцию; «темный» народ, крестьяне, который, возможно, представлял собой самую многочисленную, сохранившуюся в прежнем состоянии, трудноустранимую угрозу большевистскому государству, должен был быть заменен разумными, трудолюбивыми, отказавшимися от религии, прогрессивно мыслящими колхозными рабочими[534]. Размах коллективизации был таков, чтобы стереть крестьянство и законы его жизни с лица земли, тем самым уничтожая различие между деревней и городом. В основе всего плана, конечно, лежало предположение, что в централизованной экономике большие коллективные хозяйства будут действовать как заводы, выполняя государственные заказы по зерну и другим сельскохозяйственным продуктам. И, чтобы поставить на этом точку, государство конфисковало примерно 63% всего урожая 1931 г.

С точки зрения центрального планировщика, большое преимущество коллективизации состояло в контроле государства над данными о том, сколько каждой зерновой культуры было посеяно. Зная потребности страны в зерне, мясе, молочных продуктах и т. д., государство теоретически могло закладывать эти нужды в свои инструкции коллективному сектору. Но на практике посевные планы, навязанные сверху, часто были совершенно нереальны. Земельные отделы, занимавшиеся планами, мало знали о культурах, которые они рекомендовали сеять, не имели сведений, необходимых для выращивания их в данном месте, например о местной почве. Однако им приходилось определять нормы, и они делали это с усердием. Когда в 1935 г. А. Яковлев, возглавляющий сельскохозяйственный отдел Центрального Комитета, призывал к управлению коллективными хозяйствами «местные кадры», которые «действительно знали бы свои поля», он имел в виду, что нынешние руководители этого не знали[535]. Мы улавливаем проблески истинной картины бедствий в период больших чисток в 1936—1937 гг., когда кое-какая крестьянская критика колхозных ответственных лиц даже поощрялась, чтобы обнаружить «вредителей». Одному колхозу дали приказ распахать луга и пастбища, без которых колхозники не могли прокормить свой скот. Другой получил указания удвоить площадь, предназначенную для сена, за счет частных участков и неплодородных земель[536].

Планировщики определенно предпочитали монокультурность и доведенное до конца строгое разделение рабочей силы. Все регионы и, конечно, отдельные *колхозы*, постепенно специализировались, скажем, на пшенице, разведении скота, хлопке или картофеле[537]. Например, один колхоз обычно занимался выращиванием фуража для крупного рогатого скота или свиней, а другой — их разведением. Логика существования таких колхозов и региональной специализации труда была приблизительно та же, что и функциональных городских зон. Специализация сократила количество информации, которое приходилось учитывать агрономам, зато увеличила объем текущей административной работы, а следовательно, власть и информированность центральных должностных лиц.

Осуществление поставок следовало логике централизации. Принимая во внимание в первую очередь потребности плана, а потом оценку урожая, обычно весьма нереальную, механически распределялись планы норм для каждой области, района и колхоза. Нотом каждый колхоз доказывал, что его норма завышена, и просил снизить ее. Из своего горького опыта колхозы знали, что фактическое выполнение плана только поднимало планку на следующем круге поставок. В этом отношении колхозы были в более ненадежном положении, чем промышленные рабочие, которые все же получали заработную плату и продовольственные карточки вне зависимости от того, выполнила фабрика свой план или нет. Для *колхозников*, однако, выполнение плана могло означать голод. Действительно, большой голод в 1933—1934 гг. можно назвать только голодом коллективизации и поставок. Те же, кто противился коллективизации, затрудняли ее, рисковали навлечь на себя ужасную участь кулаков и врагов народа.

Для большинства крестьян авторитарный трудовой режим колхоза означал не только опасность голодной смерти, но и отмену многих свобод, которые они приобрели со времени освобождения от крепостного права в 1861 г. Они сравнивали коллективизацию с крепостничеством, которое еще помнили старики. Работник одного из первых совхозов выразился следующим образом: «*Совхозы* вынуждают крестьянина всегда работать; они заставляют крестьян полоть поля. И нам даже не дают хлеба и воды. К чему все это приведет? Это похоже на *барщину* [феодалская трудовая повинность]»[538]. Крестьяне начали поговаривать, что Всесоюзная коммунистическая партия (ВКП) стояла за *второе крепостное право*, или «второе крепостничество»[539]. Сравнение не было просто формой речи: сходство с крепостничеством было явное[540]. Членов колхоза обязывали работать на государственной земле по крайней мере половину времени за просто смешную заработную плату, выплачиваемую наличными или как-нибудь по-другому. Они в значительной степени зависели от своих небольших частных участков, где выращивали необходимые продукты (кроме зерна) в оставшееся свободное время[541]. Количественный план поставки и цена за колхозную продукцию устанавливались государством. Колхозники должны были ежегодно вносить налоги за работы по строительству дорог и выплачивать стоимость перевозок. К тому же от них требовалось сдавать установленное количество молока, мяса, яиц и других продуктов со своих личных участков. Чиновники, как феодальные князьки, имели привычку использовать труд колхозников для своих частных дел и, обладая чуть ли не по закону деспотической властью, оскорблять, наказывать или высылать крестьян. Как при крепостном праве, крестьяне были юридически прикреплены к месту. Паспортный режим, пересмотренный в целях очистки городов от «нежелательных и не приносящих пользы жителей», не позволял крестьянам бежать из деревень. Принимались законы, не разрешающие им держать огнестрельное оружие, нужное для охоты. Наконец, в начале 1939 г. колхозников, живущих за пределами деревень (обитателей хуторов), часто на своих старых усадьбах, насильственно заставили переехать в деревни. Это последнее переселение затронуло более полумиллиона крестьян.

В итоге трудовые законы, режим собственности и порядок поселения действительно напоминали нечто среднее между плантацией или помещным сельским хозяйством, с одной стороны, и феодальным рабством, с другой.

В качестве громадного государственного проекта революционного преобразования коллективизация знаменита как тем, что она разрушила, так и тем, что она создала. Первоначальной причиной коллективизации было не только сокрушение сопротивления зажиточных крестьян и захват их земли, но и демонтаж части общества, с помощью которого это сопротивление оказывалось, — сельского мира. В период революции крестьянская коммуна организовывала захваты земель, руководила их использованием, управляла всеми местными делами и сопротивлялась навязанным поставкам[542]. Партия имела все основания полагать, что колхозы, основанные на традиционной деревенской общине, просто усилили бы сопротивление крестьян. Разве деревенские Советы не ускользали от контроля государственных органов? Из этого следовало, что огромные колхозы, которые, как целое, не сохраняли деревенской структуры, получали решительное преимущество. Ими могло руководить правление, состоящее из партийных кадров и специалистов. Тогда в каждом отделении, на которые было разбито хозяйство, специалист мог называться управляющим, *«как и в старые времена [при крепостном праве], как сказано в [одном] .. отчете»*[543]. В конечном счете, везде, кроме приграничных районов, преобладали практические соображения, и большинство колхозов в границах их земель приблизительно соответствовало ранним крестьянским коммунам.

Однако колхоз был не просто вывеской, под которой пряталась традиционная коммуна. Изменилось почти все. Все основные моменты самостоятельной жизни были устранены. Исчезли трактиры, сельские ярмарки и базары, церковь, местная мельница, а вместо них появились колхозная контора, клуб и школа. Негосударственные общественные места сменили государственные конторы управляющих органов, хотя и местных.

Концентрацию, четкость и централизацию социальной организации и производства можно видеть на карте государственного хозяйства в селе Верхняя Троица, что находится в Тверской области (рис. 28)[544]. Большая часть деревни была вытеснена из центра и перемещена в окрестности (11 на рис. 28)[545]. Около центра были сгруппированы двухэтажные жилые дома, по шестнадцать квартир в каждом (13—15 на рис. 28; см. также рис. 29), а местная администрация и магазин, школа и клуб, все общественные учреждения, управляемые государством, находились близко к центру нового плана. Даже учитывая преувеличенный формализм карты, видно, что жизнь в государственном хозяйстве очень отличается от свободного и автономного существования в деревне до коллективизации; на фотографии прежнего переулка наглядно видна эта резкая разница (см. рис. 30).

Сравнивая эти изменения с перепланировкой Хаусманна физической географии Парижа, предпринятой с целью сделать структуру города более четкой и облегчить государственное управление, следует признать, что большевистский демонтаж сельской России был более тщательным. Вместо темного и упрямого мира они создали колхоз. Вместо многочисленных мелких хозяйств они породили отдельную местную экономическую единицу[546]. С установлением иерархического государственного хозяйства отчасти самостоятельная мелкая буржуазия была заменена подчиненными власти служащими. Вместо сельского хозяйства, где вопросы планирования, сбора урожая и торговли решались индивидуально, партийное государство построило сельскую экономику, где все эти решения принимались централизованно.

Вместо технически независимого крестьянства было создано крестьянство, непосредственно зависящее от государства в поставках комбайнов и тракторов, удобрений и семян. Крестьянские хозяйства, чьи урожаи, доход и прибыль было нелегко определить, сменили подразделения, идеальные для простого и прямого подчинения. Вместо разнообразных общин с их собственными уникальными историями развития и методами ведения хозяйства появились единообразные единицы отчетности, приспособленные для административной сетки в масштабе страны. Предполагаемая логика управления мало чем отличалась от схемы управления в фирме «Макдоналдс»: модульные, одинаково устроенные единицы, производящие одинаковую продукцию по общей технологии и с одним и тем же рабочим режимом. Эти единицы было легко дублировать, не обращая внимания на природные условия, а инспекторы, приезжающие для оценки их деятельности, имеют одну и ту же четкую шкалу оценки, результаты которой заносятся в стандартный бланк.

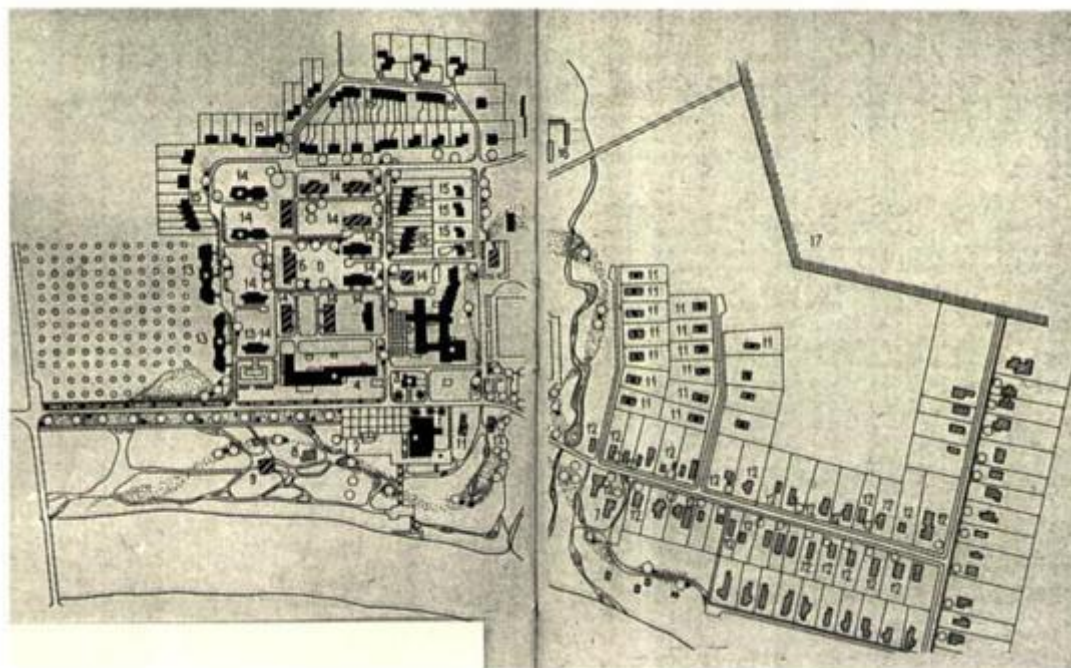


Рис. 28. План государственного хозяйства в селе Верхняя Троица Тверской области. На плане показаны: общественный клуб (1); памятник(2); гостиница (3); местная администрация и магазин(4); школа(5); детский сад (6); музеи (7, 8); магазин (9); баня(10); старый деревянный дом, перемещенный с места новой постройки (11); старая деревня (12); двух- и трехэтажные здания(13—15); частный гараж (16); сельскохозяйственные службы — ферма, склад, водонапорная башня и т. д. (17)



Рис. 29. Один из новых двухэтажных домов Верхней Троицы, содержащих по шестнадцать квартир



Рис. 30. Здания по переулку в старой деревне Верхняя Троица

Чтобы более всесторонне оценить эти 60 лет коллективизации, требуются и архивные материалы, только теперь ставшие доступными, и большая компетентность, чем моя. Но даже случайного исследователя коллективизации должно поразить, насколько значительна была неудача реализации *каждой* из ее высокомодернистских целей, несмотря на огромные инвестиции в машинное оборудование, инфраструктуру и агрономические исследования. Как это ни парадоксально, успехи ее лежали в области традиционного управления государством. Даже борясь с неустойчивостью сельского хозяйства, застойными урожаями и экологическими бедствиями, государство сумело прибрать к рукам достаточное количество зерна, чтобы обеспечить быструю индустриализацию[547]. Ценой больших человеческих

жертв государство также смогло устранить социальную основу организованного общественного сопротивления сельского населения. Но тем не менее государство оказалось неспособным реализовать свою мечту о больших, эффективных, научно организованных хозяйствах, производящих высококачественную продукцию для рынка.

Созданные государством колхозы имели некоторое отношение к современному сельскому хозяйству — они представляли его фасад, но без сущности. Хозяйства *были* высокомеханизированы (по мировым стандартам) и управляемы людьми, имеющими ученые степени в агрономии и технике. Показательные хозяйства действительно достигали больших урожаев, хотя часто при чрезмерных затратах[548]. Но ни одно из них не смогло замаскировать неудачи советского сельского хозяйства. Отметим здесь три источника этих неудач, к которым позже обратимся снова[549]. Во-первых, отобрав у крестьян их (относительную) независимость и самостоятельность, а также землю и посевной материал, государство создало по существу класс закрепощенных чернорабочих, которые всеми возможными способами тормозили дело и оказывали сопротивление. Во-вторых, унитарная административная структура и всемогущество центрального планирования произвели довольно неуклюжий механизм, крайне безразличный к информации с мест или к местным условиям. Наконец, ленинская политическая структура Советского Союза не дала сельскохозяйственным чиновникам никакого стимула приспособлять свои хозяйства к реальной жизни или начинать вести переговоры со своими сельскими подчиненными. Сама способность государства заново закрепощать сельских производителей, разрушать их уклад и навязывать свою волю достаточно объясняла неудачу государства в осуществлении высокомодернистского сельского хозяйства, о котором мечтал Ленин.

Государственные образцы контроля и присвоения

Описывая историю советской коллективизации, я осмелюсь высказать несколько откровенных умозрительных идей относительно институциональной логики авторитарного высокого модернизма. Затем попробую объяснить, почему такие массивные социальные бульдозерные сглаживания могли работать вполне терпимо для одних целей, но при попытке освоить другие, увы, проваливались — проблема, к которой мы вернемся в дальнейшем.

Безудержное движение к коллективизации стимулировалось безотлагательной целью захвата достаточного количества зерна для быстрого проведения индустриализации[550]. При сдаче урожаев 1928 и 1929 гг. частично сработали угрозы и давление, но каждый ежегодный виток поставок выявлял больше уклонений и сопротивления со стороны крестьянства. Советскому государству было нелегко противостоять исключительно разнообразному населению, состоящему из объединенных в коммуну мелких собственников, чьи экономические и социальные усилия были непонятны властям. Это обстоятельство дало некоторые стратегические преимущества крестьянству, ведущему скрытную партизанскую войну (перемежающуюся открытым бунтом) против государственных притязаний. При существующем режиме собственности государство в каждом новом году могло ожидать только кровопролитной битвы за зерно без всякой гарантии на успех.

Сталин выбрал этот период времени для нанесения решающего удара. Он навязал селу четко разработанную структуру, более удобную для подчинения, контроля и преобразования, ведущегося центром. Социальная и экономическая структура, которую он имел в виду, была, конечно, индустриальной моделью сельского хозяйства будущего — большие и механизированные хозяйства, работающие подобно промышленным линиям и координируемые государственным планированием.

При такой встрече «новейшего государства» со «старейшим классом» первое попыталось переделать последний в некое приемлемое подобие пролетариата. В сравнении с крестьянством пролетариат был более организованным классом и не только из-за своего центрального места в марксистской теории. Режим работы пролетариата устанавливался заводскими часами и созданными человеком методами производства. В случае новых индустриальных проектов, например большого металлургического комплекса в Магнитогорске, плановики могли начать фактически с нуля, как в Бразилиа. Крестьяне, напротив, представляли смесь мелких индивидуальных семейных предприятий. Образ их жизни и социальная организация имели более глубокие исторические корни, чем у пролетариата.

Одной из целей коллективизации было уничтожить такие экономические и социальные единицы, которые сопротивлялись контролю со стороны государства, и затолкать крестьянство в институциональную смиренную рубашку государственного образца. Новый установленный порядок коллективных хозяйств был совместим с государственными целями присвоения и направленного развития. В условиях, близких к гражданской войне в сельской местности, решением явилась некая смесь военной оккупации и «усмирения» с «социалистическим преобразованием»[551].

Я уверен, что можно сказать нечто более общее об «избирательном сродстве» между авторитарным высоким модернизмом и определенными институциональными механизмами[552]. Мои слова будут довольно приблизительными, но все-таки смогут послужить отправной точкой. Идеология высокого модернизма воплощает догматическое предпочтение определенного социального устройства. *Авторитарные* высокомодернистские государства делают следующий шаг: пытаются, и часто успешно, навязать эти предпочтения своему народу. Большинство из них можно свести к критериям обозримости, подчинения и централизации контроля. И они будут насаждаться, потому что эти институциональные механизмы могут легко направляться из центра, их достаточно просто облагать налогом (в самом широком смысле налогообложения). Эти скрытые цели мало чем отличаются от целей управления государством премодерна[553]. В конце концов, обозримость является предпосылкой не только подчинения, но и авторитарного преобразования. Различие заключается в абсолютно новом масштабе претензий и вмешательств, на которые притязает высокий модернизм. Принципы стандартизации, центрального контроля и доступности обзору со стороны центра могут быть приложены и к другим сферам; те, что упомянуты в таблице, только предположительны. Например, в образовании самая недоступная взгляду со стороны образовательная система — это неформальное обучение, недоступное стандартизации, полностью определяющееся взаимоотношениями учителя и ученика. Наиболее четкая и доступная система походила бы на описание Ипполита Тэна обучения во Франции в XIX в., когда «министр просвещения мог испытать чувство гордости от того, что, посмотрев только на свои часы, он уже мог точно сказать, какую страницу Вергилия разбирают все школьники Империи в данный момент»[554]. При более подробном исследовании пришлось бы заменить дихотомии более сложными схемами (например, свободное общинное землевладение менее прозрачно и труднее облагается налогами, чем ограниченное общинное землевладение, которое, в свою очередь, менее четкое, чем частная собственность, а последняя, в свою очередь, менее доступна взору государства, чем государственная собственность). И это вовсе не совпадение, что более понятная и доступная форма может быть быстрее преобразована в источник ренты — как частной собственности, так и монополистической ренты государства.

<i>Объекты</i>	<i>Недоступные</i>	<i>Доступные</i>
Поселения	Временные поселения первобытных охотников, кочевников, земледельцев, осваивающих новую землю, пионеров и цыган	Постоянные деревни, поместья, плантации оседлых людей
	Незапланированные города и кварталы: Брюгге в 1500 г., medina Дамаска, предместье Сан-Антуан. Париж, 1800 г.	Запланированные сетки городов и кварталов: Бразилиа, Чикаго
Экономические единицы	Мелкая собственность, мелкая буржуазия	Крупная собственность
	Мелкие крестьянские хозяйства	Крупные хозяйства
	Ремесленное производство	Фабрики (пролетариат)
	Мелкие магазины	Крупные коммерческие предприятия
	Неформальная экономика «без записей»	Формальная экономика «С учетными записями»
Вид собственности	Свободная общинная, общественная собственность	Коллективное хозяйство
	Частная собственность	Государственная собственность
	Местные отчеты	Национальная кадастровая опись
Вода	Местное потребительское использование, местные ирригационные системы	Централизованные плотины, ирригационное управление
Транспорт	Децентрализованные сети	Централизованное движение
Энергия	Коровьи лепешки и хворост, собранные в данном месте или местные электрические генераторы	Большие электростанции в городских центрах
Идентификация	Нерегулируемые местные обычаи записи имен	Постоянные фамилии
	Отсутствие государственной документации на граждан	Национальная система идентификационных карт, других документов или паспортов

Доступность обозрению социальных групп, ресурсов и учреждений

Пределы авторитарного высокого модернизма

В каких же случаях механизмы высокого модернизма работают, а в каких они могут потерпеть неудачу? Для неудачного выступления советского сельского хозяйства как эффективного производителя продуктов питания было задним числом найдено много разных причин, имеющих мало общего с высоким модернизмом: ошибочные теории Трофима Лысенко, навязчивые идеи Сталина, воинская повинность в период Второй мировой войны и даже погода. Понятно, что централизующие высокомодернистские решения могут быть наиболее эффективными, беспристрастными и подходящими для решения многих задач. Освоение космоса, планирование транспортной сети, контроль наводнений, производство самолетов и другие проекты могут потребовать гигантских организаций, координируемых ежеминутно всего лишь несколькими специалистами. Контроль эпидемий или загрязнения требует центра, укомплектованного специалистами, получающими стандартную информацию от сотен объектов и перерабатывающими ее.

Но, конечно, эти методы не подходят для решения таких задач, как приготовление вкусной пищи или выполнение хирургической операции. Эту проблему мы будем подробно рассматривать в гл. 8, но некоторые ценные, наводящие на размышления данные можно собрать по крупицам из практики советского сельского хозяйства. Если говорить о культурах, очевидно, что колхозы были эффективны при выращивании зерновых культур, особенно наиболее важных: пшеницы, ржи, овса, ячменя и кукурузы. Они были совершенно нерезультативны при производстве другой продукции: фруктов, овощей, мелкого домашнего скота, яиц, молочных продуктов и цветов. Наибольшее количество этой продукции обеспечивали крохотные частные участки членов колхоза даже при высоком уровне коллективизации[555].

Систематические различия между этими категориями культур помогает объяснить, почему условия их выращивания могут различаться. Возьмем в качестве примера пшеницу, которую я назову «пролетарской культурой», и сравним ее с красной малиной, которую я считаю предельно «мелкобуржуазной культурой». Пшеница хорошо подходит для экстенсивного крупномасштабного сельского хозяйства и механизации. Можно сказать, что пшеница для коллективизированного сельского хозяйства — это то же самое, что норвежская ель для научного леса, управляемого из центра. После посадки она не требует большого ухода вплоть до урожая, когда комбайн может срезать и смолотить зерно за одну операцию, а затем засыпать его в грузовики, направляющиеся в зернохранилища или к железнодорожным вагонам. Относительно сильная культура в земле, пшеница остается стойкой и после сбора урожая. Она сравнительно легко хранится в течение продолжительного времени, мало портится. Напротив, кустам красной малины нужна особая почва, чтобы они были плодородными; их надо ежегодно обрезать; сбор ягоды происходит в несколько приемов, и

для него какую-либо машину невозможно приспособить. После сбора при наилучших условиях малина хранится только несколько дней. Ягоды испортятся в течение нескольких часов, если упаковать их слишком плотно или хранить при слишком высокой температуре. Фактически каждая стадия выращивания малины требует тщательности и быстроты, иначе все усилия будут напрасными. Поэтому нет ничего удивительного в том, что фрукты и овощи — мелкобуржуазные культуры — обычно не выращивались на колхозных полях, а скорее производились индивидуальными хозяйствами как побочная продукция. Коллективный сектор в сущности уступал эти культуры тем, кто имел личную заинтересованность, стимул и садоводческие навыки в их успешном выращивании. В принципе ими могут заниматься централизованные предприятия, но только такие, которые продуманно внимательны к уходу за культурой, а также к работникам, которые ухаживают за нею. Обычно такие культуры выращиваются в семейных хозяйствах. Они меньше по размеру, чем фермы по выращиванию пшеницы, и настоятельно требуют постоянной квалифицированной рабочей силы. В таких ситуациях небольшие семейные предприятия, говоря на языке неоклассической экономики, имеют сравнительное преимущество.

Другое отличие производства пшеницы от производства малины заключается в том, что выращивание пшеницы включает только небольшое число операций, а учитывая крепкость зерна, есть некий резерв времени на обработку. Урожай пострадает не сильно. Производители малины, учитывая, что успешное культивирование этой культуры сложное, а ягоды нежные, должны уметь приспосабливаться, быть исключительно проворными и трудолюбивыми. Другими словами, успешное выращивание малины требует больше знаний о выращиваемой культуре и опыта. Понимание этих различий будет необходимо для рассмотрения танзанийского примера, к которому мы обратимся сейчас, и позже — для исследования особенностей местного знания.

7. Принудительное переселение в деревни в Танзании: эстетика и миниатюризация

Кампания по организации деревень уджамаа в Танзании с 1973 до 1976 гг. была грандиозной попыткой прикрепления большинства сельского населения к постоянному месту жительства в деревнях, планировка которых, дизайн жилищ и местные экономические структуры частично или полностью разрабатывались правительственными чиновниками из центра. Танзанийский эксперимент мы будем исследовать по трем причинам. Во-первых, по большинству оценок, эта кампания была самым крупным принудительным переселением, предпринятым к тому времени в независимой Африке: было перемещено, по крайней мере, 5 млн танзанийцев[556]. Во-вторых, благодаря международному интересу к эксперименту и относительно открытому характеру политической жизни в Танзании имеется достаточно большое количество документов о процессе виллажизации — принудительном переселении в деревни. Наконец, кампания в значительной степени была проектом, направленным на увеличение благосостояния населения, а не этнической чисткой либо выселением в карательных целях или в целях военной безопасности, что часто случалось в других местах: например, в Южной Африке при апартеиде происходили принудительные перемещения и заселение племен в резервации. По сравнению с советской коллективизацией кампания по организации деревень уджамаа была крупномасштабным социальным проектом, реализованным сравнительно нерешительным и слабым государством.

Анализ множества крупномасштабных переселений дает почти такие же результаты. В танзанийском примере важную идеологическую роль играют китайская и российская модели (как и марксистско-ленинская риторика), но они были не единственными источниками вдохновляющих идей при реализации такого рода проектов[557]. Можно также исследовать массовые принудительные перемещения людей при политике апартеида в Южной Африке, которые были более жестокими и экономически разрушительными. Можно проанализировать любое число многочисленных крупномасштабных капиталистических систем производства, часто сопровождавшихся значительными перемещениями населения при содействии международной помощи развивающимся странам[558]. Джулиус Ньерере, глава танзанийского государства, переселял своих сограждан на новое постоянное место жительства способами, которые были, как мы увидим далее, поразительно похожими на

колониальную политику, а его идеи о масштабе механизации и о экономике сельского хозяйства входили неотъемлемой частью в развернутое международное обсуждение того времени. На рассуждения о модернизации сельского хозяйства сильно повлияли модель управления ресурсами в долине Теннесси, интенсификация капиталовложений в сельское хозяйство в Соединенных Штатах и уроки экономического развития после Второй мировой войны[559].

В отличие от советской коллективизации танзанийская виллажизация не замышлялась как тотальная война с сельским населением. Ньерере настоятельно предостерегал против использования административного или военного принуждения, указывая, что никого не следует заставлять силой, против желания, переезжать в новую деревню. Разрушения и жестокость программы Ньерере, какой бы трагичной ни была она для своих жертв, не могут стоять в одном ряду с разрушениями, причиненными Сталиным. Но даже имея это в виду, приходится признать, что кампания уджамаа была принудительной и часто жестокой. Кроме того, этот проект провалился как с экологической, так и с экономической точки зрения.

Даже в этой «более мягкой» версии авторитарного высокого модернизма заметны некоторые неистребимые черты фамильного сходства. И первая из них — логическая схема «усовершенствования». Как в естественном лесу, образ общественной жизни в Танзании и способы поселения были недоступны для обозрения государством и препятствовали узко понятым государственным целям. Только радикальное упрощение картины поселений позволило бы государству приобщить граждан к таким благам цивилизации, как образование, медицина и чистая вода. Вряд ли единственной целью государственных чиновников было простое административное удобство — но это уже следующий пункт. Тонко скрытым подтекстом виллажизации была также реорганизация человеческих сообществ в целях преобразования их в более удобные объекты политического управления — государство хотело облегчить введение новых форм коллективного сельского хозяйства, пользующихся его поддержкой. В этом отношении существуют поразительные параллели между тем, что предлагали Ньерере и Танзанийский Африканский Национальный Союз (TANU), и программой сельского хозяйства и поселений, начатой колониальными режимами в Восточной Африке. Эти параллели указывают на нечто, присущее всем проектам современных развивающихся государств.

Однако вне этого второго критерия бюрократического управления лежит еще *одно*, третье, сходство, которое не имеет ничего общего с эффективностью. Я полагаю, что у программы виллажизации в Танзании (как и у советской коллективизации) было мощное эстетическое измерение. Определенные визуальные представления о порядке и эффективности могли бы иметь важное значение в некоем первоначальном контексте, но здесь они были оторваны от своих истоков. Высокомодернистские планы часто блуждают в виде этакого сжатого визуального образа эффективности, представляющего собой не научные суждения, которые можно проверить, а квазирелигиозную веру в наглядный символ порядка. Как предположила Джекобс, эти символы могут восприниматься как реальное явление, как видимый глазом порядок. То, как выглядят предметы, становится более важным, чем то, как они работают и срабатывают ли вообще; или, лучше сказать, допущение состоит в том, что если что-то выглядит правильно, то в силу этого факта оно и работает хорошо. Важность

таких представлений проявляется в тенденции миниатюризации, т. е. создания таких микросред насквозь просматриваемого порядка, как образцовые деревни, демонстрационные проекты, новые столицы и т. д.

В итоге деревни уджамаа, подобно советским колхозам, оказались экономическими и экологическими неудачами. По идеологическим причинам строители нового общества не обращали никакого внимания на местное знание и местные методы земледелия и скотоводства. Они также прошли мимо наиболее значимого факта социального строительства: его эффективность зависит от доверия и сотрудничества реальных личностей. Если люди посчитают новое устройство жизни угрожающим их достоинству, их планам и представлениям, то будь оно трижды эффективно, они сумеют *сделать* его неэффективным.

Колониальное высокомодернистское сельское хозяйство в Восточной Африке

“ Колониальное государство не просто стремилось создать под своим контролем чрезвычайно ясную и отчетливую картину жизни — условием этой отчетливости было наличие серийного номера на всем и на всех.

Бенедикт Андерсон. Воображаемые сообщества

Колониальное правление всегда осуществляется в интересах колонизатора, что в сельском обществе обычно проявляется как стимулирование производства в интересах рынка. Для этого применяются разнообразные средства, такие как подушный налог, выплачиваемый наличными деньгами или ценными культурами, поддержка частных плантаций и белых поселенцев, которые ими владеют. Во время Второй мировой войны и особенно после нее Британия начала составлять планы крупномасштабных проектов развития колоний и привлекать требуемую для этого рабочую силу в Восточную Африку. Во время войны в порядке воинской повинности было мобилизовано почти 30 тыс. разнорабочих для работы на плантациях (особенно сизаля), но это были еще цветочки. Послевоенные проекты, часто имевшие довоенные аналоги, были претенциознее: грандиозные проекты организации производства земляного ореха (арахиса), а также различных сортов риса, табака, хлопка, разведения крупного рогатого скота и прежде всего тщательно разработанные планы сохранения плодородия почвы, которые требовали определенных, строго регламентированных методов. Неотъемлемой частью многих проектов были переселение и механизация[560]. В большинстве своем эти проекты не имели ни популярности, ни успеха. Одно из стандартных объяснений привлекательности TANU в сельской местности как раз и состояло в указании на широко распространенное народное недовольство колониальной аграрной политикой, особенно принудительной консервацией мер измерения и такими инструкциями по содержанию скота, как уменьшение его поголовья и обработка от паразитов[561].

Наиболее основательным объяснением логики, лежащей в основе таких проектов «колониализма всеобщего благосостояния», является исследование Уильяма Бейнерта хозяйства соседнего Малави (в то время Ньясаленд)[562]. И хотя экология в Малави была другой, основные линии ее аграрной политики мало отличались от принятых в остальных колониях Англии в Восточной Африке. Нас в данном случае больше всего поражает, до какой степени условия колониального режима подошли независимому и гораздо более законному социалистическому государству Танзания.

Отправной точкой колониальной политики были абсолютная вера в то, что чиновники считали «научным сельским хозяйством», и полный скептицизм к существующим аграрным методам африканцев. Как сказал один провинциальный сельскохозяйственный служащий в долине Чири: «У африканцев нет ни знаний, ни навыков, ни оборудования для диагностирования проблем эрозии почвы, при этом они не могут спланировать корректирующие меры, основывающиеся на научном знании, и здесь, я думаю, мы правильно принимаем решения»[563]. И хотя мнение служащего было, без сомнения, совершенно искренним, нельзя не обратить внимание, что оно оправдывало значимость аграрных специалистов по сравнению с простыми практиками и их полномочия.

Идя в ногу с плановой политикой того времени, специалисты стремились разработать тщательно продуманные проекты — «полную схему развития» и «всестороннюю схему использования земли»[564]. Но эти планы наталкивались на серьезные препятствия: подробный перечень изощренных мер использования земли трудно было навязывать населению, состоящему из земледельцев, хорошо знающих ограничения окружающей среды и уверенных в правильности собственных методов ведения хозяйства. Подталкивание вызывало только протест и уклонение. Именно в таких ситуациях использовалась политика переселений. Идея освоения новых земель или перекупка земельных владений у белых поселенцев позволяли чиновникам закладывать на чистом месте компактные деревни и объединенные индивидуальные участки. Завербованных можно было перемещать на подготовленные и устроенные участки, призванные заменить разрозненное проживание и повсеместно распространенные сложные формы землевладения. Чем больше было деталей, разработанных проектировщиками, т. е. чем больше было построено или спроектировано хижин, разграничено участков, расчищено и вспахано полей, выбрано (а иногда и посажено) растений, тем больше было шансов управлять проектом и вести его в соответствии с разработанным планом.

Планирование нижней долины Чири по этим направлениям не было чисто научным упражнением, разъясняет Бейнерт. Разработчики проекта предложили набор технических решений в духе современного сельского хозяйства, из которых только очень немногие были оправданы в местных условиях. Кроме того, они сформировали набор эстетических стандартов, которые явно были рождены на умеренном Западе и символизировали собой упорядоченное и производительное сельское хозяйство[565]. Разработчики старались воплотить то, что Бейнерт назвал «техническим представлением о принципиально возможном»:

“

Они возводили заградительные насыпи и плотины на реках более низкого уровня, их воображение было почти художественным: они видели долину полей правильной формы, аккуратно окаймленных грядами, между длинными и прямыми контурами дамб, расположенных ниже ливневых водооттоков и закрытых лесами. Эта была мечта о прямоугольных очертаниях, которые сделают окружающую среду восприимчивой к управлению, содействующей техническому преобразованию и контролю над крестьянским сельским хозяйством и, вероятно, подобная мечта соответствовала их чувству запланированной красоты. Именно такое решение, по их мнению, сделало бы возможным правильное производство. Но, движимые техническими убеждениями и воображением, они были безразличны к результатам своего вмешательства в крестьянское общество и культуру[566].

Эстетический порядок, устанавливаемый в сельском хозяйстве или в лесном пейзаже, столь же хорошо распространялся на человеческие поселения[567]. Ряды образцовых деревень, расположенных равномерно вдоль прямоугольной сетки полей и связанных между собой дорогами, стали бы центрами технических и социальных служб. Сами поля выстраивались так, чтобы облегчить периодическое чередование засушливых земель, предполагаемое схемой. Фактически проект долины Чири представлял собой миниатюрную версию проекта управления ресурсами долины реки Теннесси, укомплектованной дамбами вдоль реки и участками, отмеченными для интенсивного капиталовложения в предприятия по переработке продуктов. В соответствии с планами архитекторов была построена трехмерная модель нового Городка, чтобы показать в миниатюре, как будет выглядеть весь проект в целом после завершения[568].

Планы людских поселений и использования земли в нижней долине Чири «почти полностью провалились». Это предвещало полный провал всего проекта организации деревень уджамаа. Местные земледельцы, например, сопротивлялись общей колониальной инструкции по предупреждению эрозии почвы. Как показали последние исследования, в местных условиях их сопротивление было вполне оправданным как экономически, так и экологически. Заградительные насыпи из песчаной земли оказались неустойчивыми и способствовали образованию больших размытых оврагов в сезон дождей и быстрому высыханию почвы в засушливый сезон и, в свою очередь, нашествию белых муравьев на корни сельскохозяйственных культур. Потенциальные поселенцы отвергали строгую регламентацию их жизни по планам правительства, «образцовое поселение с коллективным ведением хозяйства» не привлекало добровольных мигрантов, его приходилось преобразовывать в государственные хозяйства по выращиванию кукурузы с использованием оплачиваемой рабочей силы. Запреты на ведение хозяйства на плодородных болотистых местах (dimba) отпугивали добровольцев. Позже чиновники признали, что ошибались они, а не крестьяне.

Проект нижней долины Чири потерпел неудачу по двум основным причинам, решающим для нашего понимания пределов высокомодернистского планирования. Во-первых, проектировщики использовали модель сельскохозяйственного окружения, стандартизированную для всей долины. Именно это допущение позволило дать общее и, очевидно, долговременное указание всем земледельцам о постоянной смене засушливых земель. Это указание было статическим решением в динамичной и разнообразной среде, оно

как бы замораживало ее. Крестьяне же, напротив, обладали гибким набором методов, зависящих от времени наступления и продолжительности дождей, микроскопического состава местной почвы и т. д. — методов, которые в определенном смысле были уникальны для каждого фермера, каждого участка земли и для каждого сельскохозяйственного сезона. Во-вторых, проектировщики стандартизировали образ самих земледельцев, полагая, что все крестьяне будут желать приблизительно одного и того же: одинакового набора культур, одинаковых методов работы и одинаковых доходов. Это предположение не сочеталось с такими ключевыми моментами, как размер и состав семьи, побочные занятия, распределение рабочей силы, а также потребности и вкусы, обусловленные культурой. У каждой семьи были свои ресурсы и свои цели, влияющие на их ежегодную сельскохозяйственную стратегию так, что их не смог бы предусмотреть никакой, даже самый тщательный проект. Что касается проекта, то он нравился своим изобретателям как с эстетической точки зрения, так и по точности и последовательности, оцененной в собственных строгих параметрах. Однако проект опирался на своего рода муляжи социальной и физической среды, и это с самого начала обрекало его на неудачу. Одновременно, как это ни странно, быстрое развитие поселений продолжалось не по указке правительства — успешное, на добровольных началах и без какой-либо финансовой поддержки. Эти неорганизованные, стихийные, но более производительные поселения в силу своего незаконного положения на государственной земле подвергались всяческому нападкам и строго порицались, правда, без большого практического эффекта.

Плачевная неудача претенциозного проекта по организации производства арахиса в Танганьике сразу после окончания Второй мировой войны также поучительна как генеральная репетиция массовой виллажизации[569]. Это была совместная авантюра Объединенной африканской компании (филиал «Юнилевер») и колониального государства, в которой намечалось очистить не менее 3 млн акров земли от кустарника, обработать ее и получить более полумиллиона тонн арахиса для переработки в растительное масло на экспорт. Этот проект был задуман во время послевоенного прилива истовой веры в экономическое превосходство командной экономики на базе больших капиталистических фирм. К 1950 г., когда было очищено меньше 10% площади этой земли, урожай орехов оказался плохой, и проект был заброшен.

Причин такой неудачи было много. Выращивание арахиса — один из легендарных примеров того, за что не следует браться развивающимся странам. По крайней мере две из этих причин относятся и к провалу проекта в нижней долине Чири, и к более позднему провалу крупномасштабной виллажизации. Во-первых, проект был узко агрономичным и абстрактным. На неизвестную территорию распространялись очень общие данные, например, о времени, необходимом для расчистки земли трактором, количестве удобрений и пестицидов для получения планируемого урожая с акра земли и т. д. Не было детализированной карты почв, прогнозирования осадков или топографической карты, а также не проводились никакие эксперименты. Полевая разведка была расписана не более чем на девять недель, и большая часть ее выполнялась с воздуха! Общие данные оказались ошибочными, поскольку не учитывали особенностей данного местоположения: глинистой почвы, уплотнявшейся в сезон дождей; нерегулярности ливней; болезней культур, для которых не было устойчивых к этим болезням разновидностей; неправильно выбранного оборудования для обработки почвы.

Второй предпосылкой, обусловившей неудачу проекта, была «слепая вера в механизмы и крупномасштабную операцию»[570]. Основатель проекта Фрэнк Сэмюэл следовал девизу: «Ни одна операция, для которой имеется механическое оборудование, не должна выполняться вручную»[571]. Сам проект по существу представлял собой полувоенную операцию, возможно, скроенную по образцу военных действий и разработанную так, чтобы она была технически автономной. Уровень абстрактности плана напоминает тот, который в 1928. г. был разработан для советского колхоза по выращиванию пшеницы Уилсоном, Уэйром и Риггином в чикагском гостиничном номере (см. гл. 6). Проект выращивания арахиса намеренно не принимал во внимание африканских мелких фермеров, под него стремились создать колоссальное индустриальное хозяйство под европейским руководством. Проект мог бы отражать относительные цены, скажем, на равнинах Канзаса, но только не в Танганьике. Если бы был хоть какой-нибудь урожай, его бы выращивали даже при чрезвычайно невыгодных условиях. Капиталистический высокий модернизм утопического типа, вдохновивший арахисовый проект, не лучше подходил Танзании, чем образ виллажизации и коллективизм социалистического производства, вдохновлявшие Ньерере.

Деревни и «усовершенствованное» сельское хозяйство в Танзании перед 1973 г.

Большинство танзанийского сельского населения находилось, если говорить о доступности государственному взору и возможности присвоения продуктов труда, вне досягаемости. По приблизительным оценкам, 11 из 12 млн сельских жителей обитали «рассеянно» и автономно по всей территории. За исключением плотно заселенных областей в прохладной и влажной горной местности, где выращивалось и сбывалось на рынке значительное количество кофе и чая, большая часть населения занималась ведением хозяйства для собственного пропитания. Многие из того, что можно было продать, они предлагали на местных рынках, как правило, избегая государственного надзора и налогообложения. Цель колониальной политики, а затем и независимого государства Танзания (вначале поддержанной Всемирным банком) состояла в собирании как можно большего числа граждан в стабильные постоянные поселения и содействии тем формам сельского хозяйства, которые произведут больше прибавочной продукции для рынка и особенно для экспорта[572]. Какие бы стратегии ни выбирала эта политика: частного хозяйствования или обобщественного, она была предназначена для того, чтобы, по словам Горана Хайдена, «взять крестьян в плен»[573]. Конечно, националистический режим TANU был более разумным, чем колониальный. Но не следует забывать, что многое в популярности TANU в сельских районах опиралось на инерцию сопротивления обременительным и принудительным аграрным инструкциям колониального государства[574].

Как и в России, крестьянство воспользовалось преимуществами независимости во время междоусобицы, чтобы либо игнорировать политику, проводимую столицей, либо оказать ей неповиновение. Вначале основной целью Ньерере и TANU была виллажизация. Организация деревень преследовала по крайней мере три цели: организацию общественных служб, создание более продуктивного, более современного сельского хозяйства и поддержку коллективных, социалистических форм кооперации. Ньерере подчеркнул важность деревенского образа жизни еще в 1962 г. в своем торжественном обращении к парламенту Танзании при вступлении в должность:

| “

Если кто-то спросит меня, почему правительство хочет, чтобы мы жили в деревнях, ответ будет простой: пока мы сами не сможем обеспечить себя всем необходимым, мы должны обрабатывать нашу землю и поднимать уровень жизни. Мы не сможем пользоваться тракторами, мы не сможем обеспечить школами наших детей, мы не сможем строить больницы или очищать питьевую воду, основать небольшое производство, вместо всего этого нам придется продолжать жить в зависимости от городов. Даже имея достаточное количество электроэнергии, мы ни за что бы не смогли бы доставить ее каждой отдельной ферме[575].

К 1967 г. Ньерере тщательно разработал особый, социалистический аспект кампании по преобразованию деревенского уклада и изложил его в политическом документе, названном «Социализм и сельское развитие». Ему было ясно, что если развитие капитализма будет продолжаться по существующему образцу, то в Танзании в конечном счете разовьется класс состоятельных «кулаков» (русский термин, модный тогда в кругах TANU) — фермеров, которые превратят своих соседей в оплачиваемых разнорабочих. Предполагалось, что деревни уджамаа (т. е. социалистические кооперативы) построят сельскую экономику по-иному. «Мы в Танзании предлагаем, — разъясняет Ньерере, — уходить от такого положения, когда нация индивидуальных производителей-крестьян постепенно принимает стимулы и отношения капиталистической системы. Вместо этого мы постепенно должны стать нацией деревень уджамаа, где люди работают небольшими коллективами, которые кооперируются в объединенные предприятия»[576].

Для Ньерере деревенский образ жизни, создание общественных служб, коллективное сельское хозяйство и механизация представляли единое и неделимое целое. Распыленность фермеров не позволяла обеспечить им образование и медицинскую помощь, они не могли обучаться современным методам сельского хозяйства, не могли даже просто сотрудничать, не переехав сначала в деревни. Ньерере объявил: «Первое и существенно необходимое условие, которое надо выполнить, если мы хотим использовать трактора для сельхозработ, состоит в том, чтобы поселиться в *правильных* деревнях... В противном случае мы не сможем это делать»[577]. Прежде всего модернизация требовала концентрации физических лиц в стандартизированных подразделениях, которые государство могло бы обслуживать и которыми могло бы руководить. Нет ничего удивительного в том, что слова «электрификация» и «трактора», символизирующие развитие, постоянно были в употреблении у Ньерере — как и у Ленина[578]. Я полагаю, что здесь вводится в игру мощный эстетизм модернизации. Современное население должно жить в сообществах с определенной физической планировкой — и не просто в деревнях, а в *правильных* деревнях.

В отличие от Сталина Ньерере сначала настаивал на том, чтобы создание деревень уджамаа шло постепенно и было полностью добровольным. Он представлял себе, что несколько семей передвинут свои дома, чтобы стать ближе друг к другу, и засеют поблизости свои поля, после чего смогут основать коллективное хозяйство. Успех привлеч бы остальных. «Социалистические коллективы не могут быть сформированы силой, — провозглашал он, — а только при согласии членов; задача руководства и правительства состоит не в том, чтобы принуждать к этому пути развития, а только объяснять, помогать и принимать участие»[579]. Позже, в 1973 г., увидев общее сопротивление виллажизации на правительственных условиях, Ньерере изменил свое мнение. К тому времени семена

принуждения уже были посеяны как политизированной, авторитарной бюрократией, так и самим Ньерере, который был убежден, что крестьяне не знают, что хорошо для них. Таким образом, после только что провозглашенного отрицания «насилия» Ньерере допускает, что «возможно — *а иногда необходимо* — настаивать на том, чтобы все фермеры в данном районе выращивали на определенной площади определенную зерновую культуру, пока они не осознают, что это создает для них более уверенную жизнь, тогда их не придется *принуждать* выращивать ее»[580]. Крестьян, которых невозможно было убедить действовать в их же собственных интересах, тогда приходилось заставлять.

Та же логика воспроизводится в отчете Всемирного банка за 1961 г. в связи с первым пятилетним планом государства Танганьика. Этот отчет был пронизан стандартной дискуссией века о необходимости преодоления привычек и предрассудков отсталого и упрямого крестьянства. В отчете прозвучало сомнение, можно ли одним только убеждением добиться цели. Его авторы надеялись, что «социальное соревнование, сотрудничество и расширение общественных служб» преобразуют существующие отношения между крестьянами, но они грозно предупреждали, что там, «где стимулы, соревнование и пропаганда окажутся неэффективными, будет применяться давление или принудительные меры соответствующего вида»[581].

В 1960-х годах появилось множество различных по типу сельских поселений с разными способами хозяйствования. Несмотря на их огромное разнообразие — были совместные предприятия государства и иностранных фирм, государственные или полугосударственные, а были прямо-таки народные предприятия, большинство из них были сочтены нерентабельными и закрыты (по указу или ввиду явной несостоятельности). Три аспекта этих способов ведения хозяйства кажутся особенно важными для понимания того, почему в 1973 г. разразилась тотальная кампания виллажизации.

Первым аспектом было стремление к созданию экспериментальных систем. Сам по себе такой подход имел смысл, так как политические деятели перед осуществлением своих честолюбивых планов могли узнать, что будет работать, а что нет. Однако многие такие проекты претворились в своеобразные демонстрационные хозяйства, поглощающие огромные количества дефицитного оборудования, фондов и персонала. Некоторые из этих дорогостоящих миниатюризаций прогресса и модернизации какое-то время поддерживались. Для одного большого эксперимента, в котором участвовало около трех сотен поселенцев, удалось приобрести четыре бульдозера, девять тракторов, вездеход, семь грузовиков, кукурузную мельницу, электрический генератор, а во главе этого хозяйства стояли 15 управленцев и специалистов, в нем были заняты 150 разнорабочих и 12 ремесленников[582]. В некотором смысле это был показательный пример современного хозяйства, озабоченного тем, чтобы кто-нибудь не заметил его явную (и фантастическую) несостоятельность и то, что оно никак не соответствовало ситуации в Танзании.

Второй аспект, который послужил прообразом танзанийского эксперимента, сводился к тому, что при однопартийном правлении, при традиции авторитарного администрирования и наличии диктатора (хотя и довольно великодушного, но стремящегося к успешным результатам)[583] естественная бюрократическая неразбериха оказалась чрезмерной. При выборе участков для новых поселений часто руководствовались не экономической логикой,

а определением «белых пятен» на карте (предпочтительно около дорог), где можно было выгрузить поселенцев[584].

В район, расположенный к западу от озера Виктория, внезапно нагрянули член парламента и пять технических специалистов (1970 г.), чтобы разработать четырехлетний план (1970—1974 гг.) для всех деревень уджамаа этого района. Очевидно, они находились под большим давлением и пытались угодить вышестоящим начальникам, обещая гигантский подъем в развитии и производстве, которые оказались «крайне нереалистичными и абсолютно вне пределов любого возможного развития сельского производства»[585]. Планы, опубликованные без каких-либо реальных консультаций, были основаны на абстрактных предположениях об использовании машин, рабочего времени, обработки почвы и новых методов выращивания растений — все это мало отличалось от арахисового проекта или советского колхоза, рожденного в чикагском гостиничном номере.

Наконец, там, где оказывалось самое большое давление, направленное на создание новых деревень, активисты и чиновники TANU не считались с предупреждением Ньерере о неприменении насилия. Поэтому, когда в 1970 г. Ньерере решил, что все население Додомы (склонный к засухе район в центральной Танзании) следует переселить в течение 14 месяцев, чиновники развернули эту деятельность очень быстро. Рассчитывая на всеобщие горестные воспоминания о голоде в районе в 1969 г., они дали понять, что только живущие в деревнях уджамаа в случае голода получают помощь. Тех же, кто уже жил в деревнях уджамаа, но с числом семей, меньшим предусмотренного минимума (в 250 семей), часто вынуждали объединяться. В новых поселениях коллективные участки располагались согласно теории, как и трудовой распорядок и посевной план. Так, сельскохозяйственного чиновника, потребовавшего, чтобы в одной деревне в районе Додомы без всякого обсуждения было принято официальное решение об увеличении в одной деревне общественного поля до 170 акров (за счет поглощения прилегающих частных участков), выгнали с деревенского собрания, выразив тем самым редко встречавшийся открытый протест. За это старосту этой деревни освободили от должности и поместили под полицейский надзор, а председателя районного TANU, тоже дружественно относившегося к этой деревне, сняли с работы и посадили под домашний арест. Пример с Додома предвещал возможный ход развития событий.

Чтобы не было никаких сомнений по поводу того, что виллажизация подразумевала центральный контроль, а не просто создание деревни и коллективное ведение хозяйства, была поставлена точка в назидательной судьбе Ассоциации развития Рувума (RDA)[586]. RDA представляла 15 коллективистских деревень, разбросанных на сотни миль друг от друга в Сонги, отдаленном и бедном районе юго-западной части страны. В отличие от большинства деревень уджамаа эти поселения были непосредственно созданы молодыми местными активистами TANU, которые в 1960 г., намного раньше провозглашенной в 1967 г. политики Ньерере, начали организовывать в каждой деревне собственные формы коллективных хозяйственных предприятий. Вскоре Ньерере выделил одну из деревень, Литова, объявив ее образцом места, где можно посмотреть сельский социализм в действии[587]. Ее школа, мукомольный и рыночный кооперативы были предметами зависти соседних деревень. Учитывая высокий уровень покровительства и финансовой поддержки, оказанной жителям, трудно сказать, насколько в действительности экономичными были эти

предприятия. Однако члены RDA предвидели объявленную Ньерере политику исключительно местного контроля и неавторитарного сотрудничества. Кроме того, крестьяне не испугались государственной власти. Одержав победу над многими местными партийными чиновниками и изучив деревенскую кооперацию на собственном опыте, они вовсе не собирались втягиваться в бюрократическую партийную рутину. Когда каждой семье в этих деревнях было дано задание вырастить по одному акру табака для огневой сушки — культуры, которую они считали трудоемкой и неприбыльной, они открыто выразили протест через свою организацию. В 1968 г. после визита высокопоставленных деятелей центрального комитета TANU организация RDA была официально запрещена, ее имущество конфисковано, а функции переданы партии и чиновничьему аппарату[588].

Отказ деревни подчиняться центральным партийным предписаниям оказался роковым для нее, несмотря на то, что это вполне соответствовало целям, провозглашенным Ньерере.

«Приказано жить в деревнях»

Своим указом от декабря 1973 г.[589] Ньерере закончил период виллажизации, отмеченный лишь спорадическими (но оттого не более правомочными) случаями насилия, и направил государственную машину на принудительную всеобщую виллажизацию[590]. Каким бы сдерживающим ни было влияние его публичного осуждения использования силы, теперь оно свелось на нет и вполне проявилось желание партии и бюрократического аппарата поскорее достичь тех целей, которые Ньерере и преследовал. В конце концов, как объяснил Джума Мвапаху, чиновник, ответственный за принудительное поселение в районе Шиньянга, виллажизация была в интересах народа: «Операция 1974 г. [плановые деревни] была целиком принудительной. Как доказывал Ньерере, переход был обязательным, так как Танзания не могла сидеть сложа руки, видя, как большинство ее граждан ведут жизнь, подобную смерти. Поэтому государству пришлось принять на себя роль «отца», чтобы быть уверенным, что его народ выберет для себя лучшую, более обеспеченную жизнь»[591]. Новые деревни и коллективное сельское хозяйство были официальными приоритетами политики по крайней мере с 1967 г., но результаты разочаровывали. Теперь пришло время настаивать на проживании в деревне, заявил Ньерере, как на единственном пути, способствующем развитию и увеличению производства. Официальным термином, используемым после 1973 г., стало выражение «плановые» деревни (а не деревни уджамаа), по-видимому, чтобы отличить их как от деревень коллективного производства (уджамаа), потерпевших неудачу, так и от незапланированных поселений и ферм.

Проводимая кампания под названием «Операция плановых деревень» вызывала в народном сознании образы военных действий. Так оно и было на самом деле. Уточненный руководством оперативный план состоял из шести стадий: «обучить [или „политизировать“] народ, найти подходящий участок, проверить местоположение, спланировать деревню, четко разграничивая землю, обучить должностных лиц методологии уджамаа и переселить людей»[592]. Эта последовательность действий была неизбежной и принудительной. Учитывая «сокрушительный» характер кампании, обучение не подразумевало согласия людей, а только сообщение им факта, что они должны переехать и почему это в их интересах. Кроме того, был задан бешеный темп. Генеральная репетиция в районе Догома в 1970 г. позволила планирующим командам затрачивать один день на деревню; при новой кампании число планировщиков даже уменьшилось.

Стремительный темп операции был следствием не только административной спешки. Планировщики чувствовали, что шок от молниеносного переселения будет иметь удобный для их целей эффект, поскольку оторвет крестьян от их традиционной среды и связей и поставит в новые условия, где удастся без особого труда переделать их в современных производителей, следующих инструкциям специалистов[593]. Конечно, в широком смысле

целью принудительного переселения всегда является дезориентация, а затем и переориентация. Колониальные системы основания государственных хозяйств или частных плантаций, а также многочисленные планы создания класса прогрессивных мелких фермеров-землевладельцев были действенными лишь при допущении, что перестройка существующих порядков и окружающей трудовой обстановки существенно преобразует людей. Ньерере любил противопоставлять свободный и независимый ритм работы традиционных земледельцев твердой и взаимообусловленной дисциплине завода[594]. Плотнo заселенные деревни с совместным производством подвигали бы танзанийское население в направлении к этому идеалу.

Понятно, что танзанийские крестьяне отказывались переезжать в новые поселения, спланированные государством. Их прошлый опыт давал им право на скептицизм. Как земледельцы и пастухи, они в своих поселениях или во многих случаях периодических передвижениях точно и отлаженно адаптировались к зачастую скудной окружающей среде, хорошо знакомой им. Предписанное государством перемещение населения грозило уничтожить смысл этой адаптации. Выбором участков руководило административное удобство, а не экологические соображения: они нередко оказывались вдали от топлива и воды, а численность населения часто превышала разумные возможности земли. Как предвидел один из специалистов, «пока виллажизация не будет сопряжена с созданием мощной инфраструктуры для новой технологии, поддерживающей окружающую среду, переселение само по себе может привести к обратным результатам в экономическом смысле и разрушить экологический баланс, который поддерживается традиционным способом поселения. Центр поселения будет переполнен... людьми и домашними животными, это вызовет эрозию почвы; овраги и пылевые вихри обычно появляются в таких ситуациях, когда человеческая инициатива внезапно перенапрягает возобновляемые возможности земли»[595].

При сопротивлении населения и военно-бюрократической организации программы насилие было неизбежно. Почти все угрозы оказались универсальными. Решившимся снова переехать было объявлено, что продовольственная помощь будет оказана только тем, кто переедет мирно. Милиция и армия были мобилизованы для содействия транспортировке и принуждения к согласию на переезд. Переселенцев предупреждали, что власти просто снесут их дома, если они не будут разобраны и погружены на правительственные грузовики. Чтобы предотвратить возвращение этих насильственно перемещенных людей, многие дома действительно сжигались. Вот типичное описание студента из бедного района Кигома (таких сообщений тогда из Танзании поступало много): «Применялись сила и жестокость. Полиции и некоторым правительственным чиновникам были даны все полномочия. Например, в Катаназуза в Калинзи... полиции пришлось применять силу. В некоторых местах, где крестьяне отказывались упаковывать свои вещи и садиться в грузовые автомобили Операции, их дома сжигались или сносились. Разрушение домов было засвидетельствовано в деревне Ньянге. Это было обычным делом для того времени. И крестьянам пришлось безоговорочно переехать. В некоторых деревнях виллажизация была очень грубой»[596]. Осознав бесполезность открытого сопротивления, крестьяне начали делать запасы, чтобы при первой возможности убежать из новых деревень[597].

Такие продвинутые общественные службы, как поликлиники, водоснабжение и школы, предлагались только тем, кто переедет мирно. Иногда люди действительно переезжали спокойно, хотя и требовали письменного контракта с должностными лицами на организацию обещанных им служб до переезда. Очевидно, определенные стимулы были более типичны для ранней добровольной стадии виллажизации, чем для поздней принудительной. В некоторых же районах чиновники просто обозначили многие существующие деревни как запланированные, оставив их без изменений. Основанием для исключения служила как экономическая, так и политическая логика. Богатые, плотно заселенные области, вроде района к западу от озера Виктория и Килиманджаро, были в основном избавлены от виллажизации по трем причинам: фермеры там уже жили в густонаселенных деревнях, выращиваемые ими товарные культуры были существенны для государственных доходов и экспорта, а часть населения этих районов представляла собой бюрократическую элиту. Некоторые критики предполагали, что чем больше была доля правительственных чиновников в некоторых областях, тем позже (и несистематичнее) проводилась их виллажизация[598].

Когда Ньерере узнал, что убеждение применялось мало, а насилие было распространено повсеместно, он был озабочен, осудил отказ предоставить крестьянам компенсацию за их разрушенные хижины и обратил внимание на то, что некоторые чиновники перевезли людей в места, не подходящие для работы и проживания.

«Несмотря на нашу официальную политику и все наши демократические установки, некоторые руководители не прислушиваются к народу, — признавал он. — Они находят, что намного легче просто указывать людям, что надо делать»[599]. Было бы «абсурдным ссылаться на эти случаи как на типичные для виллажизации»[600], не говоря уже том, чтобы отказаться от кампании вообще. Ньерере хотел, чтобы местные власти были хорошо информированы, были ближе к людям и более убедительны в проведении государственной политики. Он не хотел, как и Ленин, чтобы они шли на поводу у людских желаний. Не удивительно — и в этом едины все источники, что фактически все деревенские собрания проводились однотипно: в виде лекций, разъяснений, инструктажей, нагоняев, предупреждений и сообщений о перспективах. Объединенные сельские жители, как ожидалось, станут тем самым «ратифицирующим общественным органом» (по удачному определению Солли Фолка Мура), призванным от имени народа легитимизировать решения, принимаемые совсем в другом месте[601]. Весьма далекая от народной легитимизации кампания виллажизации создавала отчужденное, скептически настроенное, деморализованное и не желающее сотрудничать крестьянство, которое будет дорого стоить Танзании и в материальном смысле, и политическом[602].

«Устремленные вперед» люди и их посевные культуры

Запланированные деревни следовали не только бюрократической, но и эстетической логике. Ньерере и его планировщики имели свое представление о том, как должна выглядеть современная деревня. Такие визуальные идеи становились мощным тропом. Так, слово «устремленность» стало символом для всех современных форм движения: экономных, четких, эффективных и осуществляемых с минимальным сопротивлением движению вперед. Политики и администраторы, спеша нажиться на символическом капитале, стоящем за этим

термином, объявляют, что они делают устремленной эту организацию или ту корпорацию, позволяя воображению публики дополнить деталями бюрократический эквивалент устремленного вперед автомобиля или реактивного самолета. Таким образом, термин, который имеет специфическое, контекстное значение в одной области (аэродинамике), становится обобщающим там, где его значение чисто умозрительно и эстетично, а не научно. Кроме этого, как мы увидим, эстетика новой деревни являлась отрицанием прошлого, прежде всего, конечно, в административном смысле.

То, что увидел Ньерере при посещении новых деревень в районе Шиньянга (северо-запад Танзании) в начале 1975 г., было довольно типично для бюрократической спешки и равнодушия[603]. Некоторые из деревень представляли собой «одну длинную улицу зданий, растянувшуюся на мили, как вагоны поезда»[604]. Ньерере посчитал, что это просто результат «демпинга» переселенцев. Но в таких линейных деревнях был свой смысл и своя любопытная логика. Администраторы любили располагать новые деревни по обочинам основных дорог, чтобы легче было добираться с проверкой[605]. Поселение вдоль обочин не имело экономического смысла, но оно демонстрировало, что распространение государственного контроля над крестьянством важнее другой, также государственной цели — подъема сельскохозяйственного производства. Как понял когда-то Сталин, крестьянство, захваченное в плен, не становилось производительным.

Визуальная эстетика правильной новой деревни соединяла в одно целое элементы административного порядка, опрятности и четкости, как полагается при картезианском подходе. Эта современная административно-хозяйственная единица как будто выражала суть дисциплинированного и производительного крестьянства. Один проницательный наблюдатель, сочувствующий целям виллажизации, отметил общее явление. «Новый подход, — объяснял он, — соответствовал бюрократическому стилю мышления и тому, что бюрократия может делать эффективно: переселять крестьян в новые «современные» поселения, т. е. в поселения с домами, стоящими близко друг к другу, прямыми рядами, вдоль дорог, с полями вокруг центральной деревни, организованной блоками хозяйств — каждый блок содержит индивидуальные деревенские участки с определенным типом культуры, что легко доступно для контроля сельскохозяйственного чиновника Организации содействия развитию и для возможности обработки государственными тракторами»[606].

Поскольку практика создания деревень повторялась, административный образ современной деревни становился все более кодифицированным — этот знакомый протокол мог воспроизвести любой бюрократ. «Первой реакцией руководителей района Западного Озера, когда их направили для реализации уджамаа в районе, была мысль о переселении. Создание новых поселений имело несколько преимуществ. Их можно было прекрасно контролировать и с самого начала легко организовать приятным и упорядоченным образом, предпочитаемым бюрократией, с домами и *shamba* [сады, фермы], расположенными прямыми линиями и т. д.»[607]. Реконструкция исторического происхождения этой картины современной сельской жизни была бы захватывающим описанием, хотя и отклоняющимся от наших целей.

Без сомнения, она обязана кое-чем колониальной политике и, следовательно, виду современного европейского сельского пейзажа. Известно также, что на Ньерере произвело

сильное впечатление то, что он увидел в своих поездках по Советскому Союзу и Китаю. Самое важное, однако, состоит в том, что современная плановая деревня в Танзании была последовательным, пункт за пунктом, отрицанием всей существующей сельской практики, которая включала: чередование земледелия и скотоводства; поликультурность посевов; проживание населения довольно далеко от главных дорог; власть рода и происхождения; маленькие, рассеянные поселения с хаотично построенными домами; распыленное и непроницаемое для государства производство. Логика этого тотального отрицания брала верх над здравым смыслом и экологическими или экономическими соображениями.

Коллективное сельское хозяйство и интенсивное производство

Концентрация танзанийцев в деревнях казалась с самого начала необходимым шагом в установлении новых форм сельскохозяйственного производства, где главную роль будет играть государство. Первый пятилетний план был определен этой задачей.

Хотя усовершенствование [в противоположность преобразованию] и может вносить вклад в увеличение производства ... зонах [с редкими и нерегулярными дождями], оно не может во всех случаях соответствовать существенному его подъему из-за рассеянного проживания фермеров, истощения почвы в результате практики сжигания кустарника и значительных трудностей в сбыте продукции. Политика, которую правительство решило проводить во всех этих зонах, состояла в *перегруппировке и переселении* фермеров на более подходящие земли, установлении там системы частной или общественной собственности и вводе *инспектируемого севооборота, а также смешанных форм хозяйствования*, чему благоприятствует почвенное изобилие[608].

Население, сконцентрированное в плановых деревнях, должно было постепенно переходить к выращиванию товарных культур (определенных аграрными специалистами) на общественных полях механизмами, принадлежащими государству. Их жилье, местная администрация, сельскохозяйственные методы и, что наиболее важно, их дневной распорядок труда регламентировались государственными властями.

Кампания принудительной виллажизации сама по себе имела такое разрушительное влияние на сельскохозяйственное производство, что у государства не было возможности сразу продвинуть вперед полномасштабное коллективное хозяйство. С 1973 по 1975 г. понадобился огромный импорт продовольствия[609]. Ньерере объявил, что на 1,2 млн шиллингов, потраченных на импорт продовольствия, можно было бы приобрести по корове для каждой танзанийской семьи. По грубым оценкам, 60% новых деревень были расположены на бесплодной земле, не подходящей для постоянного возделывания, а плодородные участки были удалены на большие расстояния. Беспорядок самого переезда и слишком медленное приспособление населения к новой экологической обстановке способствовали дальнейшему разрушению производства[610].

До 1975 г. попытка государства управлять производством и вне пределов государственной сферы принимала классическую колониальную форму — издание законов, указывающих

каждому хозяйству, сколько и чего в обязательном порядке оно должно посеять на минимальной площади в акрах. Для поддержки этих мер применялись разнообразные штрафы и наказания. В одном из районов чиновники объявили, что никому не разрешается отправляться на рынок, пока не будет доказано, что он возделывает требуемые 7,5 акров земли. В другом случае крестьянам отказывали в продовольственной помощи, пока каждый из них не посадит по одному акру маниоки в соответствии с законом о минимальной площади[611]. Одним из главных источников конфликта, приведшего к роспуску деревень уджамаа в Рувума, было принудительное выращивание табака для огневой сушки, который крестьяне сдавали по разорительным ценам. Колонизаторы уже давно поняли, что принудительное выращивание этой культуры можно успешно возложить только на тех, кто сконцентрирован физически и потому легко контролируем, что позволяет при необходимости принимать дисциплинарные меры[612].

Следующим шагом было плановое коллективное производство[613]. Именно эта форма предписывалась в Акте о плановых деревнях и деревнях уджамаа (1975 г.), который устанавливал «деревенские коллективные хозяйства» и требовал от деревенских властей ежегодного планирования и определения целей производства.

На практике размер каждого общественного поля и объем снимаемой с него продукции обычно устанавливались сельскохозяйственным полевым чиновником (который стремился угодить своим начальникам) и старостой после совсем небольшого обсуждения, а то и вовсе без него[614]. В результате составлялся трудовой план, который не учитывал сезонной необходимости в дополнительной рабочей силе, не говоря уже о собственных интересах крестьян. Работа в деревенском коллективном хозяйстве мало отличалась от подневольного труда. Сельские жители не имели никакого выбора в этом вопросе, и работа их редко приносила прибыль. Даже при том, что сотрудники Организации содействия развитию следили за тем, чтобы усилия были направлены исключительно на общественные поля, культуры зачастую оказывались неподходящими, почва неплодородной, поздно поступали семена и удобрения, а обещанного трактора с плугом нигде не было видно. При таких недостатках, учитывая, что любую прибыль (а прибыль получали в очень редких случаях) с общественного поля могли посчитать доходом деревенского комитета, труд терял всякий смысл.

Теоретически система политического и трудового управления рабочей силой была всеобъемлющей и вездесущей. Деревни были разделены на подразделения (mitaa), а каждое подразделение в свою очередь — на несколько ячеек (mashina, составленная из десяти домашних хозяйств). Порядок переносился и на коллективные поля. Каждое подразделение несло ответственность за обработку части общественного поля, каждая ячейка — за соответствующую долю. Теоретически лидер ячейки отвечал за трудовую мобилизацию и надзор[615]. Аналогии в жилых и рабочих дисциплинарных иерархиях были структурно разработаны так, чтобы сделать их совершенно прозрачными и понятными для властей.

На практике эта система быстро разрушилась. На самом деле области с коллективным ведением хозяйства обычно были меньше, чем те, что фигурировали в официальных сведениях[616]. Большинство подразделений и деревенских властей, когда дело доходило

до общественного земледелия, работали спустя рукава. К тому же они отказывались налагать штрафы на своих соседей, которые нарушали трудовые правила и занимались жизненно важными для них частными участками. В качестве реакции на такое распространенное «голосование ногами» многие общественные поля были разделены между личными хозяйствами и каждому было вменено в обязанность возделывать, скажем, половину акра[617]. Отпала необходимость координации работы на одном большом поле, ответственность за урожай (а, следовательно, и санкции) могла быть определена точно. Новая система напоминала колониальную принудительную систему земледелия с одним отличием: участки земли были физически объединены для более легкого контроля. Однако отсутствие какой-либо заметной отдачи от этого труда означало, что каждое домашнее хозяйство было приковано к своему частному владению и относилось к общественному участку как к тягостному добавочному труду, невзирая на периодические официальные предупреждения о том, что приоритеты надо сменить[618]. Разные урожаи на этих полях, естественно, отражали степень внимания к ним.

Цель танзанийской сельской политики с 1967 г. до начала 1980-х годов состояла в преобразовании сельского населения в такой класс, который позволит государству навязывать себе программу развития и контролировать работу и производство земледельцев. Самое подробное изложение этого замысла содержится в материалах третьего пятилетнего плана (1978 г.): «В сельскохозяйственном секторе партия добилась больших успехов в переселении крестьянства в деревни, *где теперь стало возможным выявлять трудоспособных людей, которые могут работать*, а также площадь земли, пригодной для сельскохозяйственных целей... При составлении плана для каждого рабочего места, сельского или городского, *наши исполнительные органы каждый год будут определять цели работы...* Деревенское руководство будет следить, чтобы вся партийная политика по программе развития строго выполнялась»[619]. Когда цели четкости и контроля подвергались сомнению, в план предполагалось объяснение, что сельскохозяйственное развитие «в существующих условиях» призывает к «введению распорядка работы и установлению производственных целей»[620]. И хотя были основаны коллективные хозяйства (теперь называемые деревенскими государственными хозяйствами), но, как замечает Генри Бернстайн, ввиду неполной коллективизации земли и нежелания обратиться к действительно безжалостным принудительным мерам, они были обречены на провал[621]. Основная предпосылка аграрной политики Ньерере, несмотря на все его расшаркивание перед традиционной культурой, ничем в сущности не отличающейся от колониальной, заключается в том, что методы африканских земледельцев — отсталые, ненаучные, неэффективные и экологически безответственные. Только строгий надзор, обучение и, если понадобится, принуждение со стороны специалистов научного сельского хозяйства могли бы привести их и их методы в соответствие с современной Танзанией. Чтобы решить эти проблемы, предлагалось призвать на помощь сельскохозяйственных специалистов.

Выраженное танзанийской гражданской службой такое предположение о том, что крестьянин придерживается «традиционного мировоззрения и не желает измениться»[622], *потребовало* принятия ряда сельскохозяйственных мер: от насаждения деревень уджамаа до принудительных переселений и контролируемого возделывания земли, предпринятых и колониальным, и независимым режимами. Таким взглядом на крестьянство пронизан доклад

Всемирного банка в 1964 г. и первый пятилетний план государства Танганьика. Хотя в плане и отмечено, что «были приняты существенные, действенные меры против консерватизма сельского населения, и есть надежда, что они изменятся, как только организуются в кооперативы»[623], в нем все-таки содержалось убеждение, что нужны более всеобъемлющие меры. В плане 1964 г. провозглашается: «Преодолеть *деструктивный консерватизм людей* и провести решительную аграрную реформу, которую необходимо осуществить, если страна хочет выжить, — одна из наиболее трудных проблем, перед которой стоят политические лидеры Танзании»[624].

Ньерере полностью согласился с тем, что работа большинства функционеров Организации содействия развитию состояла в «преодолении [фермерского] безразличия и привязанности к старым методам»[625]. Он лично встречался с представителями Всемирного банка по вопросу обеспечения проектов 60 новых поселений, в которых выполняющие директивы фермеры должны получить землю в соответствии с первым планом. В своем первом выступлении по радио в качестве премьер-министра в 1961 г. Ньерере умышленно изображал представителей класса земледельцев невежественными и, мягко выражаясь, недостаточно прилежными: «Если на вашей шамба не собран хлопок, если вы обработали на пол-акра земли меньше, чем могли бы обработать, если вы позволяете почве на вашем участке бесполезно истощаться или ваша шамба полна сорняками, если вы преднамеренно игнорируете советы сельскохозяйственных специалистов, значит, вы — предатель в нашем сражении»[626].

Логической противоположностью такого отношения к простому земледельцу были чрезмерное доверие к сельскохозяйственным специалистам и «слепая вера в механизмы и крупномасштабную деятельность»[627]. Если планируемая деревня была значительным «усовершенствованием» в четкости и контроле прошлых методов поселения, то планируемое сельское хозяйство, предложенное специалистами, своей четкостью и порядком представлялось «усовершенствованием» бесконечного разнообразия и путаницы мелкособственнических владений и существующих там методов[628]. В новых деревнях частные участки поселенцев (шамба) обычно наносились на карту инспекторами и представляли собой аккуратные квадраты или треугольники одинакового размера, расположенные прямыми рядами (рис. 31). Их устраивали согласно тем же принципам, что и сегментированные общественные участки: следовали скорее логике ясности и административной простоты, чем агрономическому смыслу. Так, когда началась реализация проекта возделывания чая, владельцам мелких хозяйств предложили сажать чайные кусты отдельной группой, «потому что рабочим было легче обрабатывать чай, посаженный в одном месте»[629]. Порядок расположения полей воспроизводился в порядке посаженных на них растений. Танзанийские фермеры часто выращивали две культуры или более одновременно на одном и том же поле (метод, называемый по разному: поликультурность, межкультурность или одновременное выращивание). Так, кофейные деревья часто перемежались банановыми, бобами и другими однолетними растениями. Для большинства агрономов такая технология казалась проклятием. Один из несогласных с этим методом специалистов пояснял: «Сельскохозяйственная служба содействия развитию поощряла фермеров выращивать *чистые посадки* кофе и рассматривала эту технику непременным условием современного сельского хозяйства»[630]. Если культурой были бананы, сажать надлежало только их. Аграрии-полевики оценивали достижения по тому, как была посажена

каждая культура: прямыми рядами и чистыми, без примесей, посадками[631]. Подобно крупномасштабному механизированному сельскому хозяйству, монокультурность имела научное объяснение *в специфических условиях*, но вышестоящие чиновники часто внедряли ее бездумно, как один из обязательных пунктов в катехизисе современного сельского хозяйства.

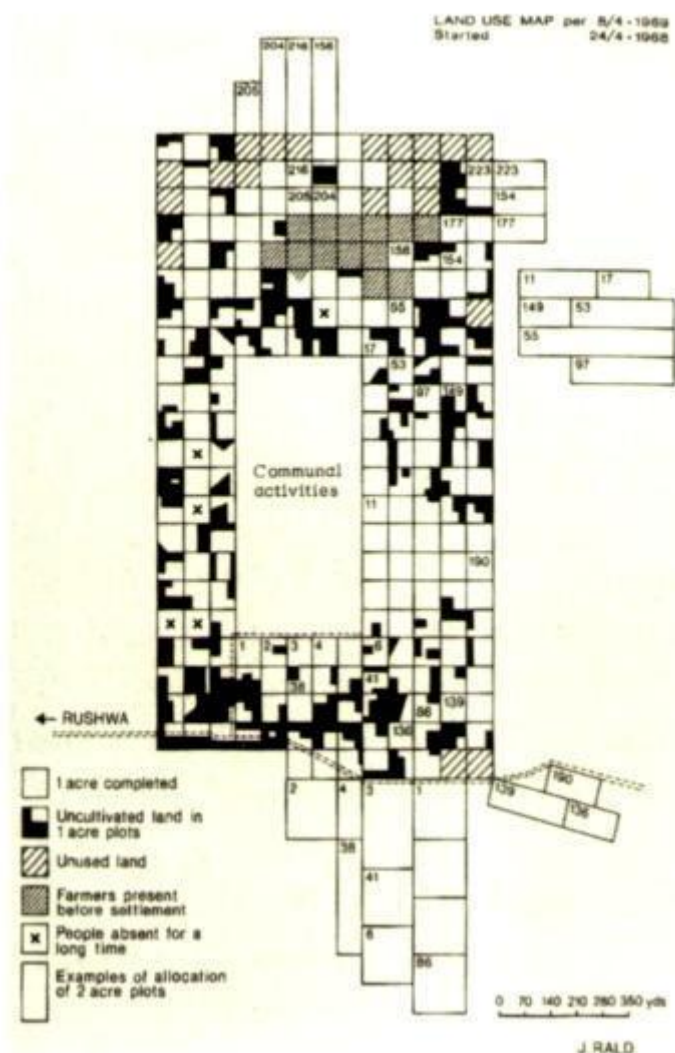


Рис. 31. План деревни уджамаа: Макази Мапиа, Омулунази, Рушва — Танзания

Но невзирая на эмпирические доказательства в пользу экологической разумности и продуктивности некоторых методов поликультурных посевов, эта высокомодернистская вера оставалась непоколебимой. Очевидно, что монокультурность и посадка рядами значительно облегчают работу администраторов и агрономов — инспекцию и обсчет площади и урожая; они упрощают полевые эксперименты, уменьшая число переменных на любом поле и поддаваясь действию вышестоящих рекомендаций, упрощают наблюдение за выращиванием; наконец, они упрощают контроль над урожаем. Регламентированный таким образом урожай с поля предоставляет государственным сельскохозяйственным чиновникам множество тех же преимуществ, что и «построенный в колонны» коммерческий лес ученым-лесоведам и финансовым инспекторам.

Бюрократическое удобство, бюрократические интересы

Авторитарная социальная инженерия способна продемонстрировать полный диапазон стандартных бюрократических патологий. Преобразования, которые она хочет произвести в обществе, не могут быть претворены в жизнь без применения силы или во всяком случае без общения с природой или людьми как функциональными образами некоторых административных шаблонов. Являясь чем-то гораздо большим, чем просто прискорбные аномалии, эти побочные поведенческие продукты органически присущи высокомодернистским кампаниям такого рода. Я намеренно не обращаю здесь внимания на жестокость, которая неизбежна в такой ситуации, когда во многом непредсказуемым руководителям, находящимся под давлением сверху, даны большие полномочия, чтобы добиться результатов любыми средствами, несмотря на народное сопротивление. Я лучше подчеркну два ключевых момента бюрократической реакции, типичных для деревенской кампании уджамаа: во-первых, стремление государственных служащих исказить результаты кампании перед предоставлением их вышестоящему начальству; во-вторых, их готовность интерпретировать цели кампании в соответствии с собственными интересами.

Как очевидно, первая тенденция сводилась к следованию сугубо количественным критериям исполнения. То, что могло бы называться «собственно деревней уджамаа», жители которой добровольно согласились на переезд и пришли к соглашению, как управлять общественным участком, где производители сами решали бы свои собственные местные проблемы (первоначальный образ деревни, который существовал у Ньерере), было заменено на «отвлеченную деревню уджамаа» — нечто такое, что можно было вставить в поток статистической отчетности. Так, партийные работники и государственные служащие, отчитываясь о результатах такой деятельности, подчеркивали число перемещенных людей, количество основанных новых деревень, приусадебных участков и проинспектированных общественных полей, пробуренных колодцев, расчищенных и вспаханных площадей, поставленного удобрения в тоннах и основанных отделений TANU. Даже если данная деревня уджамаа на самом деле представляла собой несколько грузовиков обозленных крестьян и их имущества, бесцеремонно сброшенного на участок, помеченный несколькими колышками инспекторов, она все равно шла в зачет чиновникам как еще одна деревня уджамаа. К тому же над содержанием могли преобладать эстетические соображения. Желание иметь в запланированной деревне все здания выстроенными в правильные ряды (что, возможно, было связано с легкостью контроля и желанием угодить инспектирующим чиновникам) могло привести к тому, что какой-нибудь дом по приказу мог быть демонтирован и перенесен на ничтожные пятьдесят футов в соответствии с указанием инспектора[632]. «Производительность политического аппарата» оценивалась числовыми результатами, которые давали возможность обобщения и (что, возможно, более важно) сравнения[633]. Когда чиновники поняли, что их будущее зависело от скорости предоставления впечатляющих цифр, темп соревнования резко возрос. Один чиновник описал атмосферу, которая заставила его отказаться от первоначальной стратегии избирательного действия и решительно рвануть вперед.

Эта [стратегия] оказалась безрезультатной по двум причинам. Во-первых, началось соперничество (особенно между регионами) со всеми вытекающими отсюда политическими выводами. Существовал большой соблазн самовольного завышения этих данных, поскольку они демонстрировали способность администрации в массовом масштабе мобилизовать сельское население. Из района Мара приходили сообщения о практическом окончании операции, когда она еще даже и не была начата. Высших партийных работников хвалили и награждали за достижения переселения в районе Гейта. Кому же в таких обстоятельствах хотелось бы отстать? Поэтому политические лидеры призывали к быстрым мерам для завершения переселения в короткие сроки. Такие стремительные операции, конечно, порождали проблемы — деревни оказывались плохо спланированными[634].

Воспринимая кампанию преимущественно на основе статистических отчетов и хвастливых официальных докладов, Ньерере сам усиливал атмосферу соперничества. Его пылкое обращение к TANU было бессвязным скоплением цифр, целей и процентов[635]:

“ Рассмотрим, например, вопрос о виллажизации. В моем сообщении на конференции TANU в 1973 г. я мог сказать, что 2 028 164 людей живут в деревнях. Двумя годами позже, в июне 1975 г., я рапортовал следующей конференции TANU, что уже около 9 100 000 людей живут в деревенских общинах. Теперь насчитывается приблизительно 13 065 000 людей, живущих вместе в 7684 деревнях. Это — огромное достижение. Это — достижение TANU и правительственных лидеров в сотрудничестве с народом Танзании. Оно означает, что в течение примерно трех лет около 70% наших людей переместилось в свои дома[636].

Второе, безусловно, наиболее зловещее отклонение кампании уджамаа от первоначального направления, которое привнесли в нее государственные чиновники, заключалось в том, что выполнение кампании постоянно служило подтверждением их статуса и власти. Как пронцательно отметил Эндрю Коулсон, в самом процессе создания новых деревень администраторы и партийные функционеры (фактически сами конкуренты) уклонялись от всех тех политических установок, которые способствовали бы уменьшению их привилегий и власти, и поддерживали только те, которые укрепляли их влияние. Таким образом, такие установки, как позволение маленьким деревням уджамаа (как Рувума) действовать самостоятельно, без вмешательства правительства (до 1968 г.), как участие людей в решении о создании школ (1969 г.), участие рабочих в управлении (1969—1970 гг.) и право выбирать деревенские Советы и их главу (1973—1975 гг.), выполнялись весьма недолго[637]. Высокомодернистская социальная перестройка предоставляет идеальную почву для авторитарных притязаний, и танзанийский бюрократический аппарат максимально использовал эту возможность для укрепления своего положения[638].

Идея «национальной плантации»

Виллажизация ставила своей задачей концентрировать крестьянство Танзании, чтобы организовать его в политическом и экономическом плане. Если бы она добилась этой цели, рассеянные, автономные и недоступные государственному взору поселения, до того уклонявшиеся от большинства государственных политических мероприятий, которые они находили обременительными, были бы преобразованы. Вместо них проектировщики рисовали в своем воображении население, живущее в разработанных на правительственном уровне деревнях при твердом административном контроле, возделывающее общественные поля, на которых выращиваются отобранные культуры согласно государственным спецификациям. Если принять во внимание продолжение существования жизненно важных для крестьян частных участков и (относительную) слабость трудового контроля, схема в целом становится похожей на огромную, хотя и не односвязную, государственную плантацию. То, что посторонний наблюдатель мог бы принять за новую форму порабощения, хотя бы и добровольного, элита считала нормой, поскольку политика проводилась под знаменем «развития».

В ретроспективе кажется невероятным, что государство могло с таким высокомерием при отсутствии нужной информации, практически не владея навыками планирования, приступить к перекраиванию миллионов жизней. В той же ретроспективе видится, что такая сумасбродная и иррациональная схема и должна была обмануть, с одной стороны, ожидания своих проектировщиков, а с другой — материальные и социальные ожидания ее несчастных жертв.

Бесчеловечность принудительной виллажизации была усугублена глубоко укоренившимися авторитарными привычками бюрократии и стремительным натиском кампании. Однако, если рассматривать все административные и политические недостатки, можно уйти от сути дела. Даже если бы для проведения кампании было предоставлено больше времени, имелось больше технических навыков и «умения терпеливо ухаживать», партийное государство, вероятнее всего, не смогло бы собрать и переварить всю информацию, необходимую для успешного осуществления схематического плана. Традиционные экономическая деятельность и физическое перемещение танзанийского сельского населения были последовательностью невероятно сложных, искусных и гибких мер приспособления к разнообразной социальной и материальной окружающей среде[639].

Как и в практике землевладения по обычаю (см. гл. 1), эти способы адаптации не поддаются административной кодификации из-за их бесконечно большой местной изменчивости, сложности и гибкости перед лицом новых условий. Но если уж землевладение не поддается кодификации, то остается принять, что связи, структурирующие всю материальную и социальную жизнь каждой группы крестьян, оставались в значительной степени непонятными и специалистам, и администраторам.

В этих обстоятельствах массовое поднадзорное переселение превратило жизнь крестьян в хаос. Приведем для иллюстрации невежества и равнодушия чиновников только несколько примеров из наиболее очевидных экологических неудач проведения виллажизации. Крестьян насильственно перемещали с ежегодно затопляемых земель, жизненно важных

для практики выращивания растений, на бедные почвы на высоких местах. Как мы уже знаем, их переселили к дорогам, где почва была им незнакомой или не подходящей для тех культур, которые они всегда сеяли. Деревни были расположены далеко от полей, что в отличие от рассеянно расположенных ферм делало невозможным наблюдение за урожаем и контроль за вредителями. Концентрация домашнего скота и людей часто имела пагубные последствия — способствовала распространению холеры и эпизоотий. Для чрезвычайно подвижных масаев и других пастухов создание крупных фермерских хозяйств уджамаа с выпасом рогатого скота на одном месте оказалось абсолютным бедствием — стало просто невозможно добывать средства к существованию[640].

Неудача деревень уджамаа была практически predetermined высокомодернистской спесью проектировщиков и специалистов, которые полагали, что только они одни знали, как организовать более целесообразную и плодотворную жизнь своих граждан. Следует отметить, что они действительно могли бы внести некоторый вклад в более успешное развитие сельской местности Танзании. Но упрямство, с которым они настаивали на своей монополии на необходимые знания претворения их в жизнь, ввергло страну в несчастья.

Поселение людей в поднадзорные деревни *не было* уникальным изобретением националистических элит независимой Танзании. Виллажизация имела длинную колониальную историю не только в Танзании, но и везде, где предполагалась концентрация населения. Почти до последних дней существования проекта технико-экономическое обоснование принималось и Всемирным банком, и Агентством по международному развитию Соединенных Штатов (USAID) и другими агентствами по развитию, помогающими танзанийскому строительству[641]. Как бы ни были полны энтузиазма политические лидеры Танзании в отношении кампании, которую они возглавляли, в других местах высокомодернистская вера зародилась задолго до того, как они к ней приобщились.

Танзанийский вариант, возможно, несколько отличался от других своей быстротой, всеохватностью и намерением обеспечить население такими общественными службами, как школы, поликлиники и водохозяйство. Хотя для претворения системы в жизнь и прилагались значительные усилия, все же ее последствия не были столь жестокими и непоправимыми, как последствия советской коллективизации[642]. Относительная слабость танзанийских структур и нежелание обратиться к сталинским методам[643], равно как и тактические возможности танзанийских крестьян, включающие побеги, неофициальное производство и торговлю, контрабанду и вредительство, — все это в целом сделало практику виллажизации гораздо менее разрушительной, чем можно было ожидать теоретически[644].

«Идеальная»

государственная деревня: эфиопская разновидность

Способ принудительной виллажизации в Эфиопии был одновременно похож и на российский — по насильственности, и на танзанийский — по показному логическому обоснованию. Помимо явно разделяемого социалистического мировоззрения и официальных посещений эфиопскими официальными лицами Танзании для наблюдения за программой в действии[645], есть и более глубокое сходство — в утверждении государственной власти в сельской местности, с одной стороны, и в результатах процесса и реальных физических планов, с другой. В примере с Танзанией очевидна преемственность планов Ньерере и колонизаторов. В Эфиопии, которая никогда не была колонией, переселение можно рассматривать как вековой давности проект императорской династии порабощения народов, не говорящих по-амхарски, и вообще установления контроля центра над мятежными областями. Хотя марксистская революционная элита, захватившая власть в начале 1974 г., с самого начала обратилась к насильственному переселению, ее лидер, подполковник Менгисту Хайле Мариам, и его Совет, теневой правящий орган революционного режима, не настаивали на полномасштабной виллажизации до 1985 г. Политики предвидели возможное переселение всех 33 млн сельских жителей Эфиопии. Повторяя Ньерере, Менгисту объявил, что «при разбросанном и случайном обитании и отсутствии средств к существованию эфиопские крестьяне не могут построить социализм... Поскольку усилия распылены, а средства к существованию у каждого свои, живем бедно, трудимся тяжело и не можем построить преуспевающее общество»[646]. Другие объяснения необходимости концентрированного поселения ничем не отличались от тех, что приводились в Танзании: концентрация обеспечит доступ общественных служб к ныне разбросанному населению, позволит применить разработанное государством общественное производство (производственные кооперативы), а также сделает возможными механизацию и политическое образование[647].

Социализм и его предпосылка — виллажизация — были для Менгисту синонимами слова «современный». Оправдывая массовое переселение, он говорил, что Эфиопия заслуживает свою репутацию «символа отсталости и долины невежества», и призывал эфиопов к «сплочению для освобождения сельского хозяйства от угрожающих сил природы». Наконец, он осудил пастбищное ведение хозяйства так, как будто это само собой разумелось, восхваляя при этом виллажизацию как путь «реабилитации нашего общества кочевников»[648].

Однако темпы переселения в Эфиопии были более резкими, что, по существу, спровоцировало массовые беспорядки, которые в конце концов и привели к свержению режима. К марту 1986 г., после (явно недостаточного) года, отведенного на проведение операции, власти заявили, что 4,6 млн крестьян переселены в 4500 деревень[649]. Всего три месяца были даны на сборы между первой «агитацией и пропагандой» (читай «командой») и самим переездом, часто на огромные расстояния. Все отчеты свидетельствуют, что многие из новых поселений почти ничего не получили в смысле общественных служб и были больше похожи на колонию для преступников, чем на нормально функционирующую деревню. Принудительная виллажизация в районе Арси, очевидно, запланированная непосредственно в центре в Аддис-Абебе, прошла с очень незначительной привязкой к местности или даже совсем без нее. Существовал строгий шаблон, которому было приказано следовать местным инспекторам и администраторам. В каждом очередном пункте план предыдущего тщательно копировался, поскольку режим не был склонен допускать местную импровизацию. «Но люди на местах хорошо знали свою работу: деревни и приготовленные для них 1000 [квадратных] метров, тщательно отмеченные ориентирами и межами на земле, следовали геометрическому образцу сетки, требуемой директивами. Некоторые деревни были слишком жестко размещены; например, одному фермеру пришлось переместить свой большой, хорошо построенный тукул [традиционный соломенный дом] приблизительно на 20 футов так, чтобы он находился «на одной линии» с другими зданиями в ряду»[650].

Можно заметить четкую связь теории с практикой, сравнивая правительственный план идеальной деревни и данные аэрофотосъемки о расположении новой деревни (рис. 32 и 33). Обращает на себя внимание центральное размещение всех основных местных руководящих учреждений. Бюрократический менталитет, склонный к стандартизации и округлению цифр, четко проявлялся в том, что каждая деревня по плану должна была иметь по тысяче жителей и занимать тысячу квадратных метров[651]. В такой ситуации, да еще при использовании одной и той же модели, не потребуется никаких сведений с мест. Идентичное размещение земельных участков в каждом поселении позволит властям намного быстрее спускать общие директивы, наблюдать за производством и контролировать урожай с помощью новой Сельскохозяйственной рыночной корпорации (АМС). Общая планировка была особенно удобна для инспекторов, находящихся под сильным давлением, и именно потому, что она не требовала никакой связи с местными условиями, будь то экологические, экономические или социальные. Чтобы облегчить реализацию универсального проекта однотипных деревень, проектировщики по предписанию выбирали плоские очищенные участки и строили исключительно прямые дороги и нумеровали одинаковые дома[652].

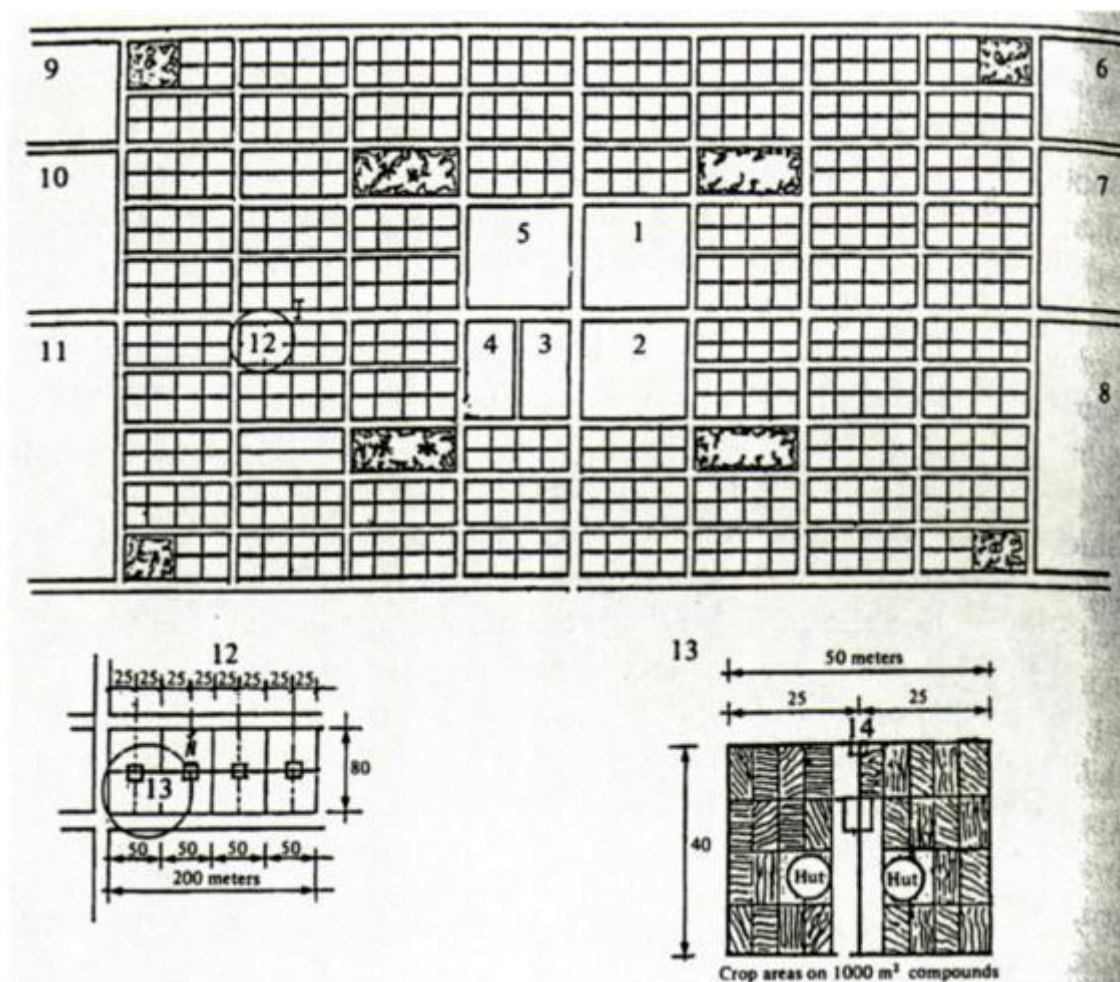


Рис. 32. Правительственный план стандартной социалистической деревни, район Арси, Эфиопия: 1 — помещение для массовых собраний; 2 — детский сад; 3 — поликлиника; 4 — государственный кооперативный магазин; 5 — контора крестьянской ассоциации; 6 — зарезервированные участки; 7 — начальная школа; 8 — спортивное поле; 9 — семенной фонд; 10 — мастерская; 11 — животноводческая станция; 12 — изображенные в увеличенном масштабе границы соседних участков; 13 — еще более увеличенное изображение границы участков с туалетами соседей

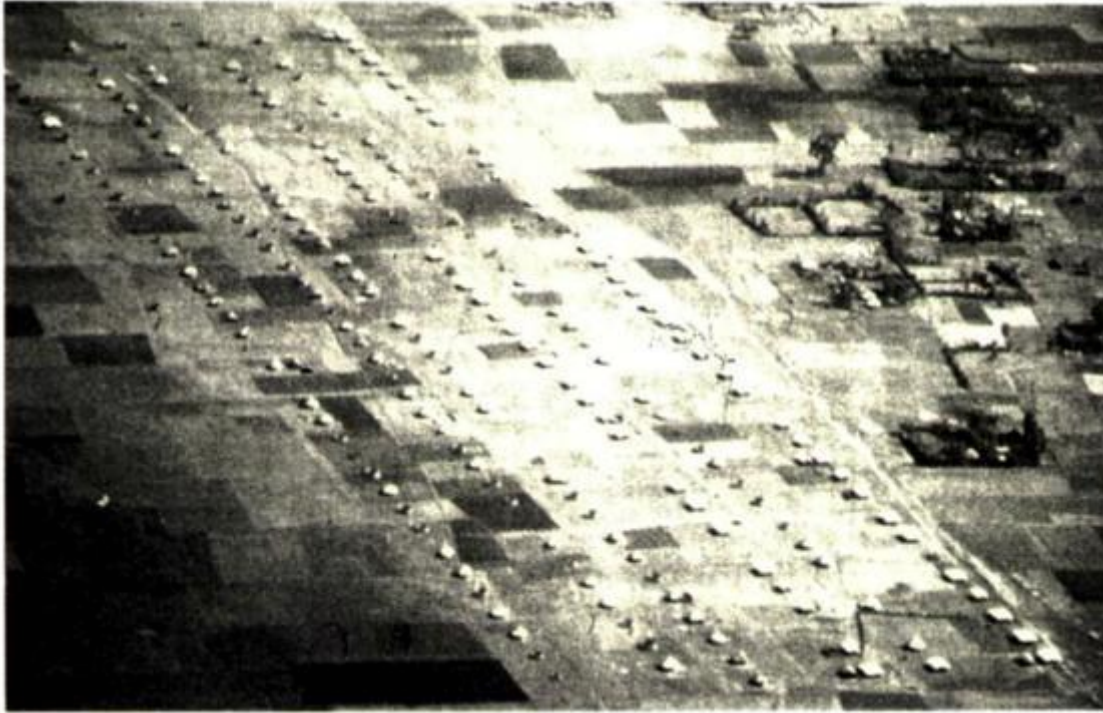


Рис. 33. Аэрофотосъемка участка переселения в юго-западной Эфиопии, 1986 г.

Объекты этого упражнения в геометрии не питали никаких иллюзий относительно его цели. Когда им, наконец, было позволено свободно высказаться, беженцы в Сомали сообщили репортерам, что новый тип поселения был задуман с целью контролировать инакомыслие и сопротивление, препятствовать отъезду людей, «сделать более легким надзор за народом», управлять сельскохозяйственным производством, регистрировать имущество и домашний скот, чтобы «позволить им легче забирать наших юношей на войну»[653].

«Образцовые производственные кооперативы» обеспечивали стандартизированное жилье: квадратные здания с жестяной крышей (чика бет). Традиционное жилье (тукулы) было везде разобрано и перестроено в жестко определенном порядке. Как когда-то в России, все частные магазины, закусочные и мелкие торговые точки были уничтожены, а такие оставшиеся государственные учреждения, как помещение для массовых деревенских организаций, конторы крестьянских ассоциаций, навес, где проходили занятия по повышению грамотности, поликлиника или государственный кооперативный магазин, использовались как места для собраний.

В отличие от танзанийской кампании в эфиопской присутствовал намного более сильный военный компонент, так как крестьян перемещали на большие расстояния с целью военного умирения и политического ослабления[654]. Само собой разумеется, что безжалостные условия виллажизации в Эфиопии имели более разрушительные последствия для крестьян и окружающей среды, чем танзанийский вариант[655].

Полная оценка всех потерь принудительного переселения в Эфиопии отнюдь не исчерпывается стандартными сообщениями о голоде, экзекуциях, вырубках леса и неурожаях. Новые поселения всегда были неудачными для жителей — и как социальные сообщества, и как производственные подразделения. Сам факт массового переселения

уничтожал наследуемые знания о местном земледелии и пастбищах, а заодно и сами сообщества — разрушено приблизительно от 30 до 40 тыс. жизнеспособных сообществ, большинство из которых находились в таких регионах, которые регулярно производили продовольственный прибавочный продукт. Типичный земледелец в Тигрее, местности, выделенной для насильственного переселения, высаживал в среднем пятнадцать культур за сезон (такие хлебные культуры, как метличка абиссинская, ячмень, пшеница, сорго, кукуруза, просо; такие корнеплоды, как ямс, картофель, лук; некоторые сорта бобовых, среди них конские бобы, чечевицу и турецкий горох; множество овощных культур, включая перец, гомбо, и многие другие)[656]. Само собой разумеется, что фермер хорошо знал каждую культуру из этого богатого разнообразия: когда ее высаживать, насколько глубоко сеять, как готовить почву, как ухаживать и когда собирать урожай. Это знание имело особую ценность, поскольку в него входили сведения и о местной среде: об осадках и почве, об особенностях каждого участка, обрабатываемого фермером[657]. Многое из этого знания сохранялось в коллективной памяти о данной местности: методы земледелия, сорта семян для посева, а также экологическая информация. Как только фермера переселяли (а переселяли зачастую в экологическую обстановку, значительно отличающуюся от прежней), его местное знание практически обесценивалось. Как подчеркивает Джейсон Клей, «таким образом, когда фермера из горной местности транспортируют в лагеря переселенцев, в районы вроде Гамбелла, он немедленно превращается из знатока сельского хозяйства в неумелого разнорабочего низкой квалификации, выживание которого полностью зависит от центрального руководства»[658].

Переселение было чем-то гораздо большим, чем просто изменением обстановки. Оно вырывало людей из окружения, в котором формировались навыки и ресурсы для удовлетворения основных потребностей, в котором, следовательно, у них были все условия для самостоятельной независимой жизни. Затем оно перемещало их в другое окружение, где все эти навыки не имели приложения. Только в таких обстоятельствах чиновники переселенческого лагеря могли низводить мигрантов до уровня нищих, чье послушание и труд можно было купить за элементарное пропитание.

Хотя с принудительным перемещением в Эфиопии совпала засуха, голод, в преодолении которого оказывали содействие международные организации, в основном был результатом массового переселения[659]. Разрушение социальных связей приводило к такому же голоду, как и неурожай, вызванные скверным планированием и незнанием крестьянами новой сельскохозяйственной среды. Коммунальные связи, семейные и родственные отношения, взаимодействие и сотрудничество, местная взаимопомощь и доверие были основными средствами, с помощью которых сельские жители прежде переживали периоды нехватки продовольствия. Лишенные этих социальных ресурсов высылками, отделявшими их от родных и близких, приковывавшими их к месту поселения, крестьяне в лагерях в голодные годы были более уязвимы, чем в подобных ситуациях в своих родных местах.

Основная цель политики не может быть достигнута никогда, о чем свидетельствует, в частности, политика Совета на селе. Если бы реализация политики была успешной, сельские эфиопы устроились бы на постоянное место жительства вдоль главных дорог в больших и правильно спроектированных деревнях, где однотипные и пронумерованные здания были бы расположены по плану, в центре которого находился бы орган управления крестьянской

ассоциации (т. е. партии), а ее председатель, его заместители и милиция рьяно работали бы на своих постах. Предназначенные культуры вырастали бы на ровных полях, единообразно размеченных государственными инспекторами, урожай собирался бы машинами и доставлялся на государственные приемные пункты для дальнейшего распределения и продажи за рубеж. Работа тщательно контролировалась бы специалистами и штатом служащих. Предназначенный модернизировать эфиопское сельское хозяйство и, не в последнюю очередь, усилить контроль Совета над ним этот политический курс оказался в буквальном смысле фатальным для сотен тысяч земледельцев и, в конце концов, для самого Совета.

Заключение

“ Каждому администратору в спокойное, не бурное время кажется, что только его усилиями движется все ему подведомственное народонаселение, и в этом сознании своей необходимости каждый администратор чувствует главную награду за свои труды и усилия. Понятно, что до тех пор, пока историческое море спокойно, правителю-администратору, со своею утлою лодочкой упирающемуся шестом в корабль народа и самомудвигающемуся, должно казаться, что его усилиями двигается корабль, в который он упирается. Но стоит подняться буре, взволноваться морю и двинуться самому кораблю, и тогда уж заблуждение невозможно. Корабль идет своим громадным, независимым ходом, шест не достает до двинувшегося корабля, и правитель вдруг из положения властителя, источника силы, переходит в ничтожного, бесполезного и слабого человека.

Лев Толстой. Война и Мир

Конфликт между государственными чиновниками и специалистами, активно планирующими будущее страны, с одной стороны, и крестьянством, с другой, был объявлен первой группой борьбой между прогрессом и мракобесием, рациональностью и суеверием, наукой и религией. И все же, как наглядно показывают высокомодернистские проекты, которые мы исследовали, эти «рациональные» планы, навязываемые первой группой, часто оказывались чреватые очевидными провалами. Ни как производственные подразделения, ни как человеческие сообщества или, наконец, ни как способы обеспечить население общественными службами запланированные деревни не оправдали возложенных на них надежд, хотя иногда эти надежды были вполне искренними. В конечном счете они не оправдали и надежд своих создателей на то, что с их помощью удастся лучше собирать налоги или обеспечивать лояльность сельского населения, хотя, возможно, они, по крайней мере на некоторое время, эффективно разваливали привычные социальные связи населения и, таким образом, помогали подавлять коллективный протест.

Высокий модернизм и оптика власти

Если планы виллажизации были такими уж рациональными и научными, почему они вызвали столь тотальное разрушение? Ответ, мне кажется, в том, что они не были ни научными, ни рациональными в любом из значащих смыслов этих определений. Ее проектировщики были способны уловить только некоторые эстетические идеи, которые являлись визуальной кодификацией современного сельского производства и общественной жизни. Как религиозная вера, эта визуальная кодификация была недоступна для критики и

закрита от несогласия. Вера в большие хозяйства, монокультурность, «правильные» деревни, вспаханные трактором поля, коллективное или общественное сельское хозяйство была эстетическим убеждением, поддержанным уверенностью, что в конечном итоге к этому придет весь мир[660]. Для всех, кроме горстки специалистов, эти представления не были простыми эмпирическими гипотезами, которые следовало тщательно исследовать на практике, поскольку они были получены на умеренном Западе в определенной обстановке. В определенном историческом и социальном контексте, например при выращивании пшеницы на равнинах штата Канзас, многие компоненты этой веры могли бы иметь смысл[661]. Однако она была генерализована и некритически применена — именно как вера — в совершенно иных обстоятельствах с самыми печальными последствиями.

На самом деле совершенно непонятно, кто здесь эмпирик, а кто сторонник научной истины. Танзанийские крестьяне, например, с заметным успехом приспособили свои способы поселения и методы ведения сельского хозяйства к изменениям климата, новым культурам и новым рынкам за два десятилетия до виллажизации. Они, кажется, имели безусловно эмпирический, хотя и весьма осмотнительный взгляд на собственные методы. В противоположность им специалисты и политические деятели находились во власти неудержимого квазирелигиозного энтузиазма, ставшего еще мощнее благодаря поддержке государства.

Но эта вера имела прямое отношение к статусу и интересам ее носителей. Приверженцы визуальной кодификации, осознанно преобразуя общество, ощущали острый и нравственно насыщенный контраст между тем, что выглядело современным — опрятным, прямолинейным, однородным, сконцентрированным, упрощенным, механизированным, и тем, что казалось им примитивным — нерегулярным, рассеянным, сложным, немеханизированным. Как техническая и политическая элита, имеющая монополию на современное образование, они использовали этот визуальный эстетизм, эти видимые знаки прогресса для определения своей исторической миссии и повышения своего статуса.

Их модернистская вера была небескорытна и в других отношениях. Сама идея о государственном плане, который будет разработан в столице и затем упорядочит периферию, превратит ее по своему образу и подобию в квазिवоенные единицы, повинующиеся прямой команде, была абсолютно центристской. Каждая властная единица на периферии была не столько связана с собственным поселением, сколько с командным центром в столице; эта связь довольно сильно напоминала сходящиеся линии, используемые для построения перспективы в ранних картинах эпохи Ренессанса. «Условность перспективы... собирает все в глазу наблюдателя. Это похоже на свет маяка, только лучи не расходятся наружу, а собираются внутрь. Столь условное представление было названо реальностью. Перспектива позволяет единственному глазу стать центром видимого мира. Все лучи сходятся к нему, как прямые к точке в бесконечности. Наблюдатель воспринимает видимый мир именно так, как по религиозному представлению Бог воспринимает Вселенную»[662].

Образ согласованности действий подчиненных восходит к упомянутым в этой книге массовым упражнениям — тысячи людей,двигающихся в совершенном единстве согласно тщательно отрепетированному сценарию. Когда такая координация достигнута, это

зрелище может влиять в нескольких направлениях. Проектировщики надеялись, что демонстрация мощного единства масс внушит зрителям и участникам благоговейный трепет. Этот благоговейный трепет не становится меньше из-за того, что (как на фабрике, управляемой по тейлористским принципам) оценить это представление может полностью только тот, кто находится вне (и выше) уровня даваемого представления; отдельные же его участники — всего лишь молекулы организма, чей мозг находится совсем в другом месте. Образ нации, которая могла бы функционировать таким образом, чрезвычайно приятен верхушке, но унижает население, чья роль таким образом сводится к исполнению приказов. Кроме произведения впечатления на посторонних такие спектакли могут по крайней мере на короткое время служить для элиты сеансами успокаивающего самогипноза, чтобы укрепить моральную цель и уверенность в себе[663].

Модернистская визуальная эстетика, вызвавшая к жизни запланированные деревни, имеет к ним очень любопытное отношение: она вносит в это творение своеобразную статичность. С точки зрения этой эстетики создается завершенная картина, которую уже невозможно улучшить[664]. Проект ведь порожден научно-техническими законами, и скрытое допущение состоит в том, что по его завершении на первый план выступает поддержание его формы. Планировщики стремились, чтобы каждая новая деревня походила на предыдущую. Подобно римскому военачальнику, посетившему военный лагерь, где он никогда до этого не был, чиновник, прибывающий из Дар-эс-Салама, точно знал, где найти все, что ему может понадобиться, от штаба TANU до крестьянской ассоциации и поликлиники. Каждое поле и каждый дом тоже были почти идентичными и располагались согласно общей схеме. В той степени, до которой на практике воплощался этот образ, не было абсолютно никакой связи с особенностями места и времени. Это был вид ниоткуда. Вместо неповторимого разнообразия поселений, близко привязанных к местной экологии и к установившимся практикам ведения хозяйства, вместо постоянного приспособления к изменениям демографии, климата и рынков государство создавало скучные деревни, одинаковые во всем — от политической структуры и социальной стратификации до методов выращивания культур. Число переменных было минимизировано. В своей совершенной четкости и сходстве эти деревни были идеальными взаимозаменяемыми кирпичиками в здании государственного планирования. *Функционировали ли они*, это уже другой вопрос.

Провал проектов

“Идеи не могут выразить действительность.

Жан-Поль Сартр

Потенциальным реформаторам гораздо легче изменить формальную структуру учреждения, чем изменить его методы. Проще поменять местами строки и столбцы в организационной таблице, чем изменить работу организации. Заменить правила и инструкции всегда проще, чем исправить поведение, которое стоит за ними[665]. Поменять физическое расположение деревни проще, чем преобразовать ее социальную и производственную жизнь. Но очевидным причинам политические элиты, особенно авторитарные высокомодернистские,

обычно начинают с изменений в формальной структуре и правилах. Такие легальные и узаконенные изменения наиболее доступны и легки в переустройствах.

Любой, кто работал в официальной организации, пусть даже небольшой, но строго руководствующейся подробными правилами, знает, что руководства и вообще письменное изложение руководящих принципов никогда не могут объяснить, почему данное учреждение справляется со своими задачами. Можно до бесконечности объяснять бесперебойность его действия, но изменяющиеся совокупности неявных соглашений, подразумеваемых соотношений и практических взаимозависимостей нельзя выразить в письменном виде. Этот повсеместно распространенный социальный факт очень полезно знать служащим и профсоюзным работникам. Рассмотрим для примера сущность того, что выразительно называется забастовкой типа «работать строго по правилам», к которой парижские таксисты прибегают тогда, когда хотят добиться от муниципальных властей изменения инструкций или оплаты. Она состоит просто в пунктуальном следовании всем инструкциям и таким образом приводит к остановке дорожного движения во всем центре Парижа. Водители используют тактическое преимущество того факта, что дорожное движение вообще возможно *только* потому, что водители владеют набором методов, которые развились вне (а часто и в нарушение) формальных правил.

Любая попытка полностью спланировать деревню, город или, скажем, язык неминуемо приведет к столкновению с социальной действительностью. Все эти объекты являются не вполне осознанными результатами очень многих усилий. Судя по той настойчивости, с которой власти настаивают на замене столь сложной сети деятельности формальными правилами и инструкциями, они определенно хотят ее разрушить способами, действие которых они, возможно, даже не могут предугадать[666]. На это чаще всего ссылаются такие сторонники невмешательства, как Фридрих Хаек, который любит указывать на то, что командная экономика, насколько бы она ни была искусственной и четкой, не может заменить несметного числа быстрых взаимных регуляторов функционирующих рынков и ценовой системы[667]. В нашем контексте, однако, эта мысль может быть приложена даже к более сложным образцам социального взаимодействия с материальной окружающей средой, к тому, что мы называем городом или деревней. Города с длинной историей можно назвать «глубинными» или «плотными» в том смысле, что они представляют собой исторический результат деятельности огромного числа людей из всех социальных слоев (включая бюрократический аппарат), которые уже давно покинули этот мир. Конечно, можно построить новый город или новую деревню, но это будет «поверхностный» или «мелкий» город, и его жителям придется (возможно, по уже известным сценариям) вдохнуть в него жизнь, не обращая внимания ни на какие правила. В случаях, подобных Бразилиа или запланированным деревням в Танзании, можно понять, почему государственные проектировщики предпочли недавно очищенный участок и «подвергнутое шоку» население, резко перемещенное на новое место жительства, ведь там наиболее сильно влияние проектировщиков. Альтернативой служит преобразование существующего на прежнем месте функционирующего сообщества, которое имеет больше социальных ресурсов для сопротивления и приспособления к запланированному.

Бедность социальных связей в искусственно сформированных сообществах можно сравнить с бедностью искусственных языков[668]. Сравнение сообществ, запланированных с одного

маху — Бразилиа или новые деревни в Танзании и Эфиопии, с более старыми, самостоятельно складывавшимися сообществами дает те же результаты, что и сравнение, например, эсперанто с английским или бирманским языком. Можно разработать новый язык, который во многих аспектах будет более логичным, более простым, более универсальным и менее нарушающим правила, будет технически обеспечивать большую ясность и точность. Очевидно, в этом как раз и состояла цель изобретателя эсперанто Лазаря Заменхофа, считавшего, что этот язык (уже известный как международный) устранил местечковый национализм Европы[669]. И все же совершенно ясно, почему эсперанто не стал официальным языком какого-либо государства, не сумел заменить существующие местные языки (или диалекты) Европы. (Как любят говорить социальные лингвисты, «национальный язык — это диалект, поддержанный армией».) Это объясняется его бедностью, а также отсутствием коннотаций, готовых метафор, литературы и устной истории, идиом и традиций практического использования, которые присущи любому языку, социально запечатленному в сознании людей. Эсперанто выжил как своего рода утопическая диковина, очень бедный диалект, на котором говорит горстка интеллигенции, тем самым поддерживая его существование.

Минитюаризация совершенствования и управления

Претензия авторитарных высокомодернистских систем на упорядочение всего, что находится в пределах их досягаемости, сталкивается с сильным противодействием. Социальная инерция, закрепившиеся привилегии, международные цены, войны, изменение окружающей среды — упоминания только этих нескольких факторов достаточно, чтобы предсказать существенное отличие результатов высокомодернистского планирования от того, что предполагалось первоначально. Государство затрачивает большие усилия (так было при сталинской коллективизации), чтобы поддержать какую-то степень формального соответствия своим директивам. Тот, кто страстно стремится к реализации подобных планов, не останавливается перед сопротивлением социальной действительности.

Единственной доступной реакцией на полную невозможность воплотить желанные планы в жизнь является отступление в мир воображения, миниатюризации — к образцовым городам и потемкинским деревням, как это уже бывало[670]. Легче построить образцовый город Бразилиа, чем существенно преобразовать страну Бразилию и бразильцев. В результате этого отступления создается небольшое, относительно автономное утопическое место, где высокомодернистские стремления можно более или менее реализовать. Крайний случай, когда контроль над ситуацией максимален, а взаимодействие с внешним миром минимально, возможен только в музее или заповеднике[671].

На мой взгляд, миниатюризация усовершенствований имеет свою логику несмотря на ее отказ от крупномасштабных преобразований. Образцовые деревни, образцовые города, военные колонии, показательные проекты и демонстрационные фермы дают политическим деятелям, администраторам и специалистам возможность создать отчетливо просматриваемый экспериментальный ландшафт с минимальным числом неподдающихся контролю переменных. Конечно, если такие эксперименты оказываются успешными на пути от пилотной стадии до применения ко всему обществу, то они — абсолютно разумная форма политики планирования. У миниатюризации есть свои преимущества. Сужение фокуса

допускает более высокую степень социального управления и дисциплины. Концентрируя материал и ресурсы государства в единственном месте, миниатюризация может приблизить архитектуру, планирование, механизацию, социальное обеспечение и посевы к образам своей мечты. Маленькие островки порядка и модернизации, как хорошо понял Потемкин, политически полезны должностным лицам, которые хотят угодить своему начальству и показать на живом примере, чего они могут достичь. Если вышестоящее начальство сидит на одном месте и не владеет нужной информацией, оно, как Екатерина Великая, введенная в заблуждение убедительным потемкинским пейзажем, способно принять образцовый фрагмент за всю картину[672]. Такая разовая и локальная демонстрация своего рода высокомодернистской версии Версаля или Малого Трианона позволяет ее автору избежать серьезного ущерба для своей власти.

Визуальная эстетика миниатюризации также существенна. Как архитектурный набросок, модель и карта — способы обращения с большой реальностью, которая трудно отображаема и управляема во всей полноте, так и миниатюризация высокомодернистского развития — наглядно заверченный образец того, как будет выглядеть будущее.

Миниатюризация того или другого вида вездесуща. Невольно напрашивается вопрос, а нет ли у человеческого стремления к созданию «игрушечных моделей» больших объектов и реалий, которыми невозможно управлять в их подлинном масштабе, бюрократического эквивалента. Ю-фу Туан замечательно показал, как мы уменьшаем и тем самым приспособляем к себе явление большого масштаба, находящееся вне нашего контроля, причем часто с добрыми намерениями. К таким явлениям Туан относит искусство выращивать карликовые деревья, делать сады из камней и песка и просто сады (миниатюризация растительного мира), куклы и кукольные домики, игрушечные железные дороги, солдатиков и игрушечное военное оружие, а также «живые игрушки» в виде специально выведенных пород рыбок и собак[673]. Туан фокусирует свое внимание на игровом приручении, но похожее желание управлять и властвовать применимой в большем масштабе — к бюрократии. *Существенные* цели, выполнение которых трудно оценить, могут подменяться скудной и отвлеченной статистикой — числом построенных деревень и площадью вспаханной земли в акрах; таким же образом их можно заменить микросредой модернистского порядка.

Столицы как основное место расположения государственных структур и правителей, как символический центр (новых) наций и как место посещения влиятельных иностранцев — наиболее подходящие объекты для миниатюризации, они — истинные заповедники высокомодернистского развития. Даже в современных светских обликах национальные столицы сохраняют кое-что из старинных традиций священных центров национального культа. Символическая мощь высокомодернистских столиц зависит вовсе не от того (как это было когда-то), насколько они отражают священное прошлое, а скорее от того, насколько они символизируют утопические устремления, в которые правители вовлекают свои нации. Разумеется, как это всегда и было, они показывают проявления мощи прошлой или будущей власти. Это особенно заметно в колониальных столицах. Имперская столица Нью-Дели, построенная по проекту Эдвина Латайенса, — пример города, призванного вызывать благоговение подданных (и возможно, собственных чиновников) своим масштабом и великолепием, своими площадями для парадов и процессий, демонстрирующих военную

мощь, своими триумфальными арками. Нью-Дели была, естественно, предназначена для отрицания того, что потом стало называться Олд-Дели.

Одна из основных целей постройки новой столицы прекрасно подмечена личным секретарем Георга V в примечании относительно будущего места жительства британского вице-короля. Он писал, что она должна быть «блистательной и повелевающей», но не подавлять то, что осталось от прошлых империй или необыкновенных особенностей естественного пейзажа. «Мы, наконец, должны дать возможность [индийцам] увидеть мощь науки, искусства и цивилизации Запада»[674]. Находясь в центре столицы по случаю какой-нибудь церемонии, можно было на мгновение забыть, что эта крошечная жемчужина имперской архитектуры почти потерялась в обширном море индийских реалий, которые или не имели никакого отношения к ней, или безусловно ей противоречили.

Очень многие страны (некоторые из них — бывшие колонии) построили совершенно новые столицы, отрицающие их городское прошлое: Бразилия, Пакистан, Турция, Белиз, Нигерия, Берег Слоновой Кости, Малави и Танзания[675]. И даже тогда, когда при постройке таких столиц пытались использовать элементы национальных строительных традиций, их все-таки строили по планам западных или обученных на Западе архитекторов. Как указывает Лоренс Вейл, многие новые столицы кажутся абсолютно законченными и самодостаточными объектами. Ничего нельзя ни убавить, ни прибавить — только восхищаться. В стратегическом использовании холмов и возвышений, комплексов, расположенных позади стен или водных барьеров, в точно градуируемой структурной иерархии, отражающей назначение и статус данного здания, столицы также передают впечатление гегемонии и доминирования, чего не удастся добиться за пределами города[676].

Додома, новая столица, по замыслу Ньерере должна была быть несколько иной. Идеологические предпочтения режима должны были выразиться в архитектуре, преднамеренно *не* монументальной. Несколько связанных между собой поселений повторяли бы неровности пейзажа, и скромный масштаб зданий устранил бы необходимость лифтов и кондиционеров. Однако весьма определенно предполагалось сделать Додома утопическим местом, которое одновременно представляло бы будущее и явно противопоставлялось бы Дар-эс-Саламу. Общий план Додомы противостоял Дару, как «доминантному фокусу развития, ... представляющему собой антитезу тому, на что нацелена *Танзания*, — город, растущий в таком темпе, который (если его не контролировать) нанесет ущерб естественной человеческой среде в себе самом и во всей Танзании как основанном на равенстве граждан социалистическом государстве»[677]. Планирование деревень для всех остальных велось без оглядки на то, нравились ли они людям или нет, а для себя правители разработали новый, символический центр, включающий — я думаю, неслучайно — островок безопасности на холме посреди прилизанного, упорядоченного окружения.

Если труднопреодолимые сложности преобразования существующих городов могут соблазнить создать вместо них образцовую столицу, то и трудности преобразования ныне существующих деревень могут побудить к отступлению в миниатюризацию. Одним из основных вариантов этой тенденции было создание тщательно контролируемой производственной среды с помощью разочарованных колониальных чиновников

организации содействия развитию. Коулсон обращает внимание на логику, которая использовалась при этом: «Если фермеров нельзя было заставить или убедить, единственными доступными альтернативами было либо вообще не обращать на них внимания и двигаться к механизированному сельскому хозяйству, управляемому посторонними (как в проекте выращивания арахиса или на поселенческих фермах, управляемых европейцами), либо молниеносно переместить их из традиционной среды в поселения, где в обмен на получение земли они, возможно, согласились бы следовать инструкциям штата сельскохозяйственных служащих»[678].

Другим возможным вариантом была попытка выделить из имеющихся крестьян прогрессивных фермеров, которых можно было бы мобилизовать на освоение современного сельского хозяйства. Такой политике, довольно детально разработанной, следовали в Мозамбике, ей также придавалось важное значение в колониальной Танзании[679]. Когда государству противостояла «каменная стена крестьянского консерватизма», как указывает документ Министерства сельского хозяйства Танганьики от 1956 г. становилось необходимым «ослаблять внимание к некоторым участкам, чтобы сконцентрироваться на небольших определенных пунктах — эта процедура стала называться «главным подходом»[680]. В своем желании изолировать маленький сектор сельскохозяйственного населения, который, как они думали, заинтересуется научным сельским хозяйством, специалисты организации содействия развитию сельского хозяйства часто пропускали другие факты, которые имели отношение непосредственно к их миссии, — факты, которые были у них под носом, но не под их эгидой. Так, Полин Петерс описывает деятельность в Малави, направленную на уменьшение населения сельских районов: там оставляли только тех, кого сельскохозяйственные власти называли «основными фермерами». Специалисты Агентства содействия развитию пытались создавать микроскопический пейзаж «аккуратно очерченных участков ведения сельского хозяйства, основанного на ротации однопорodных культур, которые заменили бы разбросанное, занимающееся одновременно многими различными культурами сельское хозяйство, считавшееся ими отсталым. В то же время они упустили из виду самопроизвольную и всеобщую заинтересованность в выращивании табака — той самой культуры, которую они когда-то пробовали насаждать силой»[681].

Мы уже подчеркивали, что запланированный город, запланированная деревня и запланированный язык (не говоря уже о командной экономике), вероятнее всего, окажутся скудными городами, деревнями и языками. Они скудны в том смысле, что не могут разумно запланировать чего-нибудь большего, чем несколько схематических аспектов той неисчерпаемо сложной деятельности, которая характеризует «плотные» города и деревни. Единственное, но вполне точно прогнозируемое последствие столь поверхностного планирования состоит в том, что запланированное учреждение произведет на свет неформальную действительность — «темного двойника», предназначенного для реализации многих из различных потребностей, которые не в состоянии удовлетворить запланированное учреждение. Бразилиа, как показал Холстон, порождала «незапланированную Бразилиа» строительных рабочих, мигрантов и вообще тех, чье нахождение там и деятельность оказались необходимыми, но отнюдь не ожидалось и не планировались. Почти каждая новая образцовая столица породила как неизбежное сопровождение своих официальных структур другой, более «беспорядочный» и сложный город, *который выполнял официальную городскую работу* и который фактически был

условием ее существования. «Темный двойник» — не просто аномалия, «объявленная вне закона действительность»: он представляет собой деятельность и жизнь, без которой официальный город перестанет функционировать. Объявленный вне закона город имеет такое же отношение к официальному городу, как фактические методы парижских таксистов к *Code routier*.

Если отвлечься от конкретики, то легко себе представить, что чем больше претенциозности и настойчивости в официально изданном приказе, тем больший объем неформальных методов необходим, чтобы поддерживать эту фикцию. Чем жестче плановая экономика, тем в большей мере она сопровождается «подпольной», «теневой», «неофициальной» деятельностью, которая тысячами способами снабжает людей тем, чем не в состоянии обеспечить официальная экономика[682]. Результатом безжалостного подавления подпольной экономики всегда был экономический кризис и голод («большой скачок» и «культурная революция» в Китае; автаркическая, безденежная экономика Пол Пота в Камбодже). Усилия, призванные вынудить жителей страны иметь постоянное закрепленное место жительства, приводили к тому, что в городских зонах существовали большие незаконные и незарегистрированные группы населения, которым было запрещено там проживать[683]. Настаивая на неуклонном визуальном эстетизме в центре столицы, власть сама производит трущобы, которые кишат мигрантами, подметающими полы, готовящими пищу и присматривающими за детьми элиты, работающей в пристойном запланированном центре[684].

8. Приручение природы: четкое и упрощенное сельское хозяйство

“ Если разобрать колесницу, от нее ничего не останется.

При установлении порядка появились имена. Поскольку возникли имена, нужно знать предел [их употребления].

Дао дэ цзин

Простые абстракции бюрократических учреждений, как мы уже видели, не могут адекватно отобразить фактическую сложность естественных или социальных процессов.

Используемые ими категории слишком грубы, слишком статичны и слишком стилизованы, чтобы править миром, который пытаются описать.

По причинам, которые скоро станут очевидны, высокомодернистское сельское хозяйство, поддерживаемое государством, вынуждено обращаться к абстракциям того же порядка. Простая «производительная и прибыльная» модель сельскохозяйственного развития и сельскохозяйственные исследования потерпели неудачу в важных способах представления комплексных, гибких и взаимосвязанных целей реальных фермеров и их общин. В эту модель не вписывалось пространство, где фермеры выращивают свои культуры: его микроклимат, влажность и движение воды, его микрорельеф и местная биотическая история. Неспособное как следует представить богатство и сложность существующих ферм и полей, высокомодернистское сельское хозяйство зато преуспело в радикальном упрощении этих ферм и полей таким образом, чтобы их можно было более полно оценить, а также непосредственно контролировать и управлять ими. Я подчеркиваю именно *радикальный* характер упрощения сельскохозяйственного высокого модернизма, потому что вообще сельское хозяйство, даже в самой элементарной неолитической форме, неизбежно есть процесс упрощения растительного богатства природы[685]. Как еще мы должны понимать процесс, с помощью которого человек выращивает одни виды флоры, которые он посчитал полезными для себя, и препятствует произрастанию других, которые он счел ненужными?

Логика радикального упрощения полей почти идентична логике радикального упрощения леса. Фактически упрощенное сельское хозяйство, разработанное раньше, послужило

моделью для научного лесоводства. Руководящей идеей было увеличение урожая или прибыли[686]. Леса были переосмыслены как «древесные фермы», в которых единственный вид деревьев был посажен прямыми рядами и, подобно зерновым, давал урожай, когда «созревал». Предпосылками таких упрощений, нацеленных на получение наибольшей прибыли или дохода, были существование товарного рынка и давление конкуренции как на государственные, так и на частные предприятия. Поле одной культуры, как и лес одного определенного вида деревьев, игнорировало все многообразие остальных элементов биологического сообщества, если они не имели прямого влияния на жизнеспособность и урожай той породы, которая дает прибыль. Такая сосредоточенность на единственном результате, всегда сводящемся к наибольшей коммерческой выгоде, наделяла лесоводов и агрономов аналитической мощью, позволяющей тщательно отслеживать влияние посторонних факторов на эту единственную зависимую переменную. В этих пределах нельзя отрицать чрезвычайную силу подобного подхода к увеличению урожаев. Однако, как мы увидим, этому сильному, но узкому взгляду неизбежно мешают явления, лежащие за пределами ограниченного поля зрения. Продолжая метафору, отметим, что такой взгляд, в свою очередь, означает, что индустриальная агрономия получает неожиданный удар от факторов, находящихся вне ее поля зрения, и в результате кризиса вынуждена его расширить.

В этой главе мы будем рассматривать такой вопрос: почему модель современного научного сельского хозяйства, которая была столь успешной на умеренном индустриализированном Западе, так часто не срабатывала в странах третьего мира? Несмотря на ничтожность результатов, модель пытались продвигать и колониальные модернизаторы, и независимые государства, и международные организации. В Африке, где результаты были особенно отрезвляющими, очень опытный агроном заявил, что «один из важнейших уроков экологического исследования сельского хозяйства Африки в течение примерно 50 лет состоит в том, что перечень достижений «драматической модернизации» настолько беден, что теперь необходимо всерьез и надолго вернуться к более медленным и постепенным подходам»[687].

Мы не будем подробно обсуждать конкретные причины неудач, преследовавших конкретный проект выращивания определенных культур. Безусловно, в этих неудачах повинны и знакомые нам бюрократические извращения, и нескрываемая хищническая практика. И все же я хочу сказать, что происхождение этих провалов можно проследить на более глубоком уровне; другими словами, у этих неудач были систематические причины, обычно даже при самых выгодных предпосылках административной эффективности и неподкупности.

Им, по-видимому, присущи по крайней мере четыре элемента. Два первых вызваны историческими корнями и институциональной связью высокомодернистского сельского хозяйства. Во-первых, поскольку модернизм зародился на умеренном индустриальном Западе, его носители в сельскохозяйственном планировании унаследовали ряд непроверенных допущений относительно посевной и полевой подготовки, которые, как потом оказалось, плохо срабатывали в другой обстановке. Во-вторых, принятые предположения о специальных знаниях воплощались в жизнь конкретными модернистскими сельскохозяйственными планировщиками, которые постоянно приспосабливали

предлагаемые ими системы под служебные интересы должностных лиц и государственных управляющих органов[688].

Однако третий элемент действует на более глубоком уровне: это систематическая колоссальная близорукость высокомодернистского сельского хозяйства, которая приводит к совершенно определенным формам неудачи. Преувеличенная сосредоточенность на производственных целях оставляет неизвестными все результаты, лежащие вне непосредственных связей между фермерскими затратами и урожаем. Это означает, что и на долгосрочные результаты (структура почвы, качество воды, отношения землевладения), и на косвенные результаты, которые экономисты называют «несущественными», обращают мало внимания, пока они не начинают влиять на производство.

Наконец, сама сила научного сельскохозяйственного экспериментирования — его упрощающие предположения и способность изолированно рассматривать воздействие отдельной переменной на все производство — не может адекватно реагировать на определенные формы сложности. Игнорируются сельскохозяйственные методы, далеко отстоящие от его собственных.

Чтобы избежать недоразумений по поводу преследуемой мной цели, хочу подчеркнуть, что я не выступаю против современной агрономической науки, тем более против методов научного исследования вообще. Современная агрономическая наука, занимающаяся искусным разведением культур, патологией растений и анализом их питания, почвой и технологическими тонкостями, создала фонд технической информации, который к настоящему времени используют даже наиболее традиционные земледельцы. Цель моя состоит в том, чтобы показать, как *имперская претенциозность* агрономической науки, ее неспособность признавать и включать знание, созданное вне ее парадигмы, резко ограничила ее применимость для многих земледельцев. Если фермеры, как мы увидим, заинтересованы в получении *любых* сведений, откуда бы они ни приходили, лишь бы соответствовали целям, то современные сельскохозяйственные проектировщики гораздо менее восприимчивы к иным путям получения информации.

Разновидности сельскохозяйственного упрощения

Сельское хозяйство на ранних стадиях

Всякое сельское хозяйство является упрощением. Даже самые поверхностные его формы всегда приводят к появлению менее разнообразной растительности, чем дикая. Культуры, которые человечество выращивает, стали полностью одомашненными и зависимыми в своем выживании от умения земледельцев вести хозяйственную деятельность, такую как очистка земли, сжигание кустарника, взрыхление почвы, пропалывание, прореживание, удобрение навозом. Строго говоря, вся фауна, не исключая людей, изменяет свою среду в ходе сбора продовольствия. Однако несомненно, что большинство земледельцев рода *homo sapiens* так приспособилось к измененной среде, что стало своего рода «биологическими монстрами», которые не смогли бы выжить в диком мире[689].

Тысячелетия изменений и сознательный человеческий выбор способствовали выживанию видов, отличавшихся от своих худосочных собратьев[690]. Забота о собственной выгоде заставила нас предпочитать те виды растений, которые имеют большие, легче прорастающие семена, больше соцветий и, следовательно, больше плодов, более легких в обработке. Так, у культивированной кукурузы несколько крупных початков с большими зернами, в то время как у дикой или полудомашней кукурузы очень маленькие початки с мелкими зернами. Такое различие наиболее ярко проявляется при сравнении огромного культурного подсолнечника с тяжелой шапкой, полной семян, с его миниатюрным лесным родственником.

Конечно, кроме урожая, земледельцы также учитывали множество других свойств: текстуру, аромат, цвет, устойчивость к хранению, эстетическую ценность, способность к измельчению, кулинарные качества и т. д. Многообразие человеческих целей привело не к единственной идеальной культуре каждой разновидности, а скорее к огромному разнообразию подобных культур, каждая из которых некоторым существенным образом отличалась от остальных. Так, есть сорта ячменя, предназначенные для каши, хлеба, пива и домашнего скота, а также «приятный сорго для жевания, белосеменные сорта для хлеба, маленькие темные красnoseменные сорта для пива и сорт с сильным волокнистым стеблем для нужд домостроения и плетения корзин»[691].

Однако самое большое воздействие на выбор оказывало постоянное беспокойство земледельцев о том, чтобы не голодать. Эта главная забота также приводила к большому разнообразию видов культурных растений, определяемых «породами» различных зерновых культур. Породы — генетически различные культуры, которые по-разному отвечают на различные почвенные условия, уровень влажности, температуру, освещенность солнцем, болезни и вредителей, микроклимат и т. д. По истечении длительного времени традиционные земледельцы, действуя как опытные ботаники вывели буквально тысячи пород каждого вида. Практические знания о многих, если не обо всех, сортах позволяют земледельцам проявлять удивительную гибкость перед лицом многочисленных факторов окружающей среды, которыми они не могут управлять[692].

Для нашего исследования длительное развитие такого многообразия сортов существенно по крайней мере в двух отношениях. Во-первых, на заре земледелия фермеры, преобразуя естественное окружение и подгоняя его под свои нужды, были заинтересованы, в частности, и в создании определенного его разнообразия. Сочетание широких интересов и заботы о запасах продовольствия побуждало их выводить и сохранять много сортов. Генетическая изменчивость выращиваемых ими культур обеспечила защиту от засухи, наводнений, болезней растений, вредителей и сезонных капризов климата[693]. Болезнетворные микроорганизмы могли погубить один сорт, но не тронуть другой; некоторые сорта прекрасно произрастали в засуху, а другие — в условиях большой влажности; некоторые хорошо росли в глинистой почве, а другие — в песчаной. Выращивая разные сорта, точно учитывающие локальные условия, земледелец максимально увеличивал надежность урожая.

Разнообразие сортов существенно еще и в другом смысле. Все современные культуры любого экономического значения — результат селекции пород. Приблизительно до 1930 г. все научное разведение зерновых было, по существу, процессом селекции существующих пород[694]. Породы и их дикие прародители, а также «одичавшие культуры» представляют «зародышевую плазму» или основной семенной фонд, на котором основывается современное сельское хозяйство. Иными словами, как выразился Джеймс Бойс, современные виды культур и традиционное сельское хозяйство дополняют друг друга, а не заменяют[695].

Сельское хозяйство XX в.

Современное индустриальное научное сельское хозяйство, Характеризуемое монокультурностью, механизацией, гибридизацией, использованием удобрений и пестицидов и интенсификацией основных фондов, привело к такому уровню стандартизации в сельском хозяйстве, который не имеет исторического прецедента. По сравнению с простейшей монокультурностью в модели научного лесоводства, которое уже рассматривалось, это упрощение в сельском хозяйстве повлекло за собой гораздо большее генетическое сужение, чреватое последствиями, которые мы только теперь начинаем постигать.

Одна из основных причин возрастающего однообразия культур — интенсивное коммерческое давление для максимизации прибыли в условиях массовой конкуренции. Так,

деятельность, направленная на увеличение плотности насаждений для повышения производительности земли, способствовала применению видов, которые допускали густые посадки. Большая плотность насаждений, в свою очередь, увеличивала использование химических удобрений и, следовательно, выбор подвидов, известных высоким потреблением удобрений (особенно азота) и реакцией на него. Одновременно рост больших сетей супермаркетов с их установившейся стандартизированной практикой отгрузки, упаковки и выкладки на прилавки неуклонно вел к подчеркиванию важности товаров, которые имели бы одинаковый размер, форму, цвет и, что называется, «бросались в глаза»[696]. В результате такого давления должно было выделиться небольшое число культур, которые подходили бы под эти критерии (при отказе от других).

К тому же единообразие легче обеспечить на полях с помощью механизации. Поскольку производственные цены на Западе, по крайней мере с 1950 г., предполагали замену наемных рабочих сельскохозяйственными машинами, фермер искал культуры, которые можно было бы выращивать с помощью механизмов, т. е. такие, строение которых не нарушалось тракторами и распылителями, которые и созревали бы одновременно и которые можно было собирать за «один проход» машины.

Приблизительно в то же самое время развивалась и техника гибридизации, но она была лишь короткой остановкой на пути создания нового многообразия культур, специально выводимых для механизации. «Генетическая изменчивость, — замечает Джек Ральф Клоппенберг, — является врагом механизации»[697]. В примере с кукурузой гибридизация — результат скрещивания двух диких культур — производит генетически идентичные особи, идеальные для механизации. Разновидности культур, разработанные с учетом механизации, были доступны уже с начала 1920-х годов, когда Генри Уоллис объединил свои силы с производителем механизмов по сбору урожая для обработки нового крепкоствольного вида кукурузы. Таким образом была развернута широкая область научной деятельности по выведению растений, названная «фитоинженерией» и ставившая своей целью приспособление естественного мира к обработке механизмами. «Не машины делаются для сбора урожая, — заметили два приверженца фитоинженерии. — На самом деле урожай нужно приспособить к машинной уборке»[698]. Сначала культуры приспособили к обрабатываемому полю, теперь их приспособляли к машинам. «Машинодружественная» культура выводилась так, чтобы включить в нее ряд характеристик, облегчающих механический сбор урожая. Среди наиболее важных из них были упругость, сконцентрированность грозди плодов, одинаковость размеров растений и их строения, формы и размера плода, малорослость (особенно плодовых деревьев) и легкая собираемость плодов[699].

Выведение «помидора для супермаркета» Дж.К. (Джеком) Ханна в университете Калифорнии в Дэвисе в конце 1940-х и 1950-х годов — один из первых случаев, он весьма показателен[700]. Подстегиваемые нехваткой сельскохозяйственных рабочих в период войны исследователи одновременно приступили к изобретению комбайна и разведению помидоров, которые были бы приспособлены к нему. В итоге выводимые для этой цели гибриды были невысокими, вызревали одновременно, давали плоды одинакового размера с толстой кожурой, твердой мякотью и без трещин; их собирали зелеными во избежание повреждений при захватывании механизмами и с помощью этилена искусственно доводили

до кондиции при транспортировке. В результате появились маленькие одинаковые зимние помидоры, продаваемые по четыре штуки в пакете, которые в течение нескольких десятилетий преобладали на полках супермаркетов. Вкус и пищевые качества были вторичны по отношению к совместимости с машинами. Или, скажем помягче, селекционеры делали все, что могли, чтобы вывести лучший сорт помидоров при самых жестких ограничениях механизации.

Императивы максимизации прибыли и, следовательно, в нашем случае механизации урожая потребовали преобразования и упрощения и поля, и культуры. Негибкие, неизбирательные машины лучше всего работают на ровных полях с идентичными растениями, дающими одинаковые плоды той же самой спелости. Для достижения этого идеала была использована агрономическая наука: большие, точно подобранные поля; одинаковая ирригация и подбор питательных веществ для регулирования роста растений; обильное использование гербицидов, фунгицидов и инсектицидов для поддержания одинаковой силы растений и прежде всего селекция растений для создания идеального культурного сорта.

Непредвиденные последствия упрощений

Изучая историю наиболее мощных эпидемий культур, начиная с картофельного бедствия в Ирландии в 1850 г., комитет Национального Исследовательского Совета Соединенных Штатов заключил: «Эти перечисления ясно показывают, что монокультурные и генетически однообразные посевы способствуют распространению эпидемий. Недостает только появления паразита, который может воспользоваться их уязвимостью. Если вся культура одинаково подвержена заболеванию, тем лучше для паразита. Таким образом вирусные болезни опустошили поля сахарной свеклы (пожелтение листьев), персиков (пожелтение листьев), картофеля (скручивание листьев и вирусы X и Y), какао (разрастание побегов), клевера (внезапное высыхание), сахарного тростника (мозаичная болезнь) и риса (*hoja blanca*)»[701]. После того, как болезнь листьев кукурузы нанесла огромный ущерб урожаю в 1970 г., была создана комиссия для исследования генетической уязвимости основных культур. Один из первых селекционеров гибридной кукурузы Дональд Джонс предсказал проблемы, которые может принести потеря генетического разнообразия: «При благоприятных условиях окружающей среды генетически однородные чистопородные сорта отличаются высокой урожайностью и хорошо защищены от вредителей всех видов. Когда же внешние факторы неблагоприятны, результат может оказаться губительным ... ввиду появления какого-то нового опасного паразита»[702].

Логика эпидемиологии сельскохозяйственных культур в принципе проста. У всех растений есть некоторая сопротивляемость болезнетворным микроорганизмам, в противном случае и они, и микроорганизмы (если бы они паразитировали только на этих растениях) исчезли бы. В то же время все растения подвержены действию определенных микроорганизмов. Если поле засажено только генетически идентичными особями, простыми гибридами или клонами, то каждое растение уязвимо одинаково и для того же самого микроорганизма, будь это вирус, грибок, бактерия или нематода[703]. Такое поле — идеальная среда для быстрого размножения микроорганизмов при питании этой культурой. Единообразная среда обитания, особенно такая, где слишком густые посадки растений, вызывает действие естественного отбора, благоприятствующего таким микроорганизмам. С поправкой на

сезонные условия размножения микроорганизмов (температура, влажность, ветер и т. д.), налицо классические условия для роста эпидемии в геометрической прогрессии[704].

Напротив, разнообразие — враг эпидемий. В поле с растениями нескольких видов только некоторые из них будут восприимчивы к данному микроорганизму, да и те будут удалены друг от друга. Так нарушается математическая логика эпидемий[705]. Использование монокультур, как отмечено в докладе комитета Национального Исследовательского Совета, заметно увеличивает риск заболеваемости, поскольку все растения одного и того же вида имеют одинаковый генетический аппарат. Там же, где поле засажено генетически разнообразными видами, риск значительно уменьшается. Использование разнообразия культур и смена места их посадок с течением времени, как в севообороте или при смешанном возделывании культур, служит преградой распространению эпидемий.

Современную практику обработки полей пестицидами, которая развилась за последние пятьдесят лет, следует рассматривать как составную часть этой генетической уязвимости, а не как научное достижение. Простые гибриды настолько однородны и, следовательно, склонны к заболеванию, что надо предпринимать титанические усилия для контроля окружающей среды, в которой они произрастают. Такие гибриды аналогичны больному человеку с пораженной иммунной системой, который должен содержаться в стерильной палате, чтобы опасная инфекция не захватила его врасплох. В нашем случае стерильность поля создается всеохватывающим использованием пестицидов[706].

Кукуруза, наиболее широко распространенная культура в Соединенных Штатах (85 млн акров в 1986 г.)[707] и первая из культур, для которой вывели гибрид, обеспечила почти идеальные условия для насекомых, болезней и сорняков. Соответственно широко использовались пестициды: для обработки кукурузы на это уходила третья часть всего рынка гербицидов и четвертая часть инсектицидов[708]. Одним из долгосрочных эффектов, который был легко предсказуем теорией естественного отбора, стало появление устойчивых видов насекомых, грибов и сорняков, требующих или больших доз обработки, или нового набора химических веществ. Некоторые микроорганизмы, что опять-таки было предсказуемо, развили то, что называется «перекрестным сопротивлением» целому классу пестицидов[709]. Чем больше поколений микроорганизмов было подвергнуто воздействию пестицидов, тем выше вероятность появления устойчивых к ним видов. Кроме тревожащих последствий использования пестицидов для органического состава почвы, качества грунтовой воды, здоровья человека и сохранности экосистемы, пестициды обострили некоторые существовавшие болезни культур и создали новые[710].

Как раз перед заболеванием листьев кукурузы на Юге в 1970 г. 71% всей площади для нее был засеян только шестью гибридами. Специалисты, исследующие эту болезнь, выражающуюся в увядании и опадании листьев без гниения, указали на особое воздействие механизации и однородности продукта скрещивания, которое вело к радикально более узкой генетической основе культуры. «Однородность, — утверждалось в докладе, — является ключом к объяснению»[711]. Большинство гибридов было выведено при стерилизации мужских особей методом, использующим «техасскую цитоплазму». Именно эта единообразная группа и подверглась нападению грибка *Helminthosporium maydis*; те же гибриды, которые были созданы без техасской цитоплазмы, пострадали мало.

Микроорганизм не был нов; в докладе комитета Национального исследовательского совета предположено, что он, вероятно, существовал уже тогда, когда Скванто показывал пилигримам, как выращивать кукурузу. Но, возможно, *H. maydis* с течением времени способствовал появлению более опасных мутантов. «Американская кукуруза была *слишком изменчива*, чтобы предоставить новому мутанту хороший плацдарм»[712]. Что действительно было ново, так это уязвимость культуры, родной континенту.

Доклад снова подтвердил тот факт, что «самые главные культуры особенно генетически единообразны и восприимчивы [к эпидемиям]»[713]. Открытием, которое позволило получать новые виды, менее подверженные заболеваниям, оказалась экзотическая зародышевая плазма из редкой мексиканской породы растений. В этом и многих других примерах именно генетическое разнообразие, созданное длинной историей выведения пород неспециалистами, показало путь к верному решению[714]. Подобно формальному порядку запланированной части Бразилиа или коллективного сельского хозяйства, существование современного упрощенного и стандартизированного сельского хозяйства зависит от «темного двойника» — неофициальных методов и опыта, на которых оно в конечном счете и паразитирует.

Катехизис высокомодернистского сельского хозяйства

Модель и направление американского сельскохозяйственного модернизма непререкаемо главенствовали в течение трех десятилетий — с 1945 по 1975 г. Это была преобладающая «экспортная модель». Были начаты сотни проектов ирригационных сооружений и дамб, скопированных на скорую руку с сооружений проекта управления ресурсами долины Теннесси; с большой помпой было заложено много обширных дорогостоящих сельскохозяйственных систем и задействованы тысячи консультантов. Преемственность в кадрах была такой же, как и в идеях. Экономисты, инженеры, агрономы и проектировщики, которые служили в Теннесийском проекте, Министерстве сельского хозяйства США или в Министерстве финансов, перешли в Организацию Объединенных Наций, в Департамент продовольствия и сельского хозяйства, прихватив с собой свой опыт и идеи. Сочетание американской политической, экономической и военной гегемонии, обещание ссуд и помощи, беспокойство относительно обеспечения продовольствием народонаселения всего мира, а также большая продуктивность американского сельского хозяйства — все это придавало такую уверенность американской модели, значение которой трудно переоценить.

Находились скептики, подобные Рейчел Карсон, которые усомнились в этой модели, но их голоса утонули в громком хоре оптимистических пророков, видевших впереди только необозримое блестящее будущее. Типичной для подобного оптимизма была статья Джеймса Б. Билларда «Больше продовольствия для растущих миллионов людей: революция в американском сельском хозяйстве», которая появилась в журнале «National Geographic» в 1970 г.[715] Его видение хозяйства будущего, воспроизведенное на рис. 34, не было праздной фантазией; оно, как объясняется в статье, было спроектировано «под руководством специалистов Министерства сельского хозяйства США».

Текст Билларда — подлинная ода механизации, научным чудесам и огромным масштабам. По его мнению, для воплощения всего этого достаточно упрощения ландшафта и централизации управления. Поля будут больше, деревьев будет меньше, меньше будет ограждений и дорог; участки станут в «несколько миль длиной и в сотни ярдов шириной»; «управление погодой» предотвратит ливни и торнадо; атомная энергия «сравнивает холмы» и добудет ирригационные воды прямо из морей; спутники, чувствительные приборы и самолеты обнаружат места эпидемий растений, а в это время фермер будет находиться на своем контрольно-диспетчерском пункте. На эксплуатационном уровне кредо экспортного американского сельского хозяйства включало те же самые фундаментальные убеждения. И

экспортеры, и огромное большинство их нетерпеливых клиентов видели только следующие факты: превосходную техническую эффективность крупномасштабных хозяйств, большое значение механизации для экономии рабочей силы и преодоления технических препятствий, превосходство монокультурности и гибридов над разнообразием пород, а также преимущества сельского хозяйства с высоким вложением затрат, включая химические удобрения и пестициды. Кроме того, они охотнее верили в большие интегрированные и запланированные проекты, чем в постепенные усовершенствования, частично потому, что большие капиталоемкие схемы можно было планировать, как и простые технические разработки, подобные совхозу, который был спланирован в гостиничном номере Чикаго.

“Рис. 34. Картина фермы будущего, созданная Дэвисом Мельцером «при содействии специалистов Департамента США по сельскому хозяйству». Опубликовано в одном из номеров «National Geographic» за 1970 г. В заметке подробно рассказывается о ферме начала XXI в.: «Поля зерновых протянулись подобно скоростным трассам, а загоны для скота напоминают квартирные комплексы... К современному зданию управления фермы примыкает контрольная башня с круглым куполом, в котором расположены компьютеры, датчики погоды, телетайп. Дистанционно управляемый комбайн скользит по рельсам по десятимильному пшеничному полю. Рельсы уменьшают давление тяжелой машины на почву. Обмолоченное зерно сыпается в пневматические трубы, идущие вдоль границ поля, и по ним перекачивается на хранение в элеваторы. Та же машина, что собирает зерно, готовит землю для нового урожая. Аналогичное устройство поливает расположенные по соседству с пшеничным полем посева соевых бобов. Вертолет разбрасывает инсектициды.

Расположенные рядом со служебной дорогой конические мельницы измельчают корм для скота, содержащегося для экономии места в многоуровневых загонах. Корм перекачивается в загоны по трубам и автоматически распределяется. Центральный подъемник перемещает животных вверх или вниз по мере того, как дренажная система смывает навоз для переработки в удобрение. Расположенный рядом с дальним загонем мясоперерабатывающий комбинат упаковывает говядину в специальные цилиндрические сосуды для перевозки на рынки вертолетами или по монорельсовой дороге. Освещаемые пластиковые купола обеспечивают управляемую среду для выращивания высокоценных растений, таких как клубника, помидоры и сельдерей. Расположенная вблизи озера рядом с зоной отдыха водонапорная станция обеспечивает ферму водой.»

Чем больше индустриального содержания было в схеме, чем большая часть окружающей ее среды могла быть преобразована в единообразную структуру (через управляемую ирригацию и удобрения, использование тракторов и комбайнов, обработку ровных полей),

тем меньше оставалось места непредвиденным обстоятельствам[716]. Местные почвы, пейзаж, рабочая сила, орудия труда и погода не имели никакого отношения к этим заранее созданным проектам. В то же время системы, продуманные в соответствии с этими направлениями, подчеркивали техническую компетентность разработчиков, возможность централизованного управления и, не в последнюю очередь, значение «модульности» проекта, который мог быть привязан почти к любому месту. Для местных руководителей, страстно желающих иметь современный показательный проект, который они могли бы контролировать, преимущества таких проектов были очевидны.

Грустная судьба огромного множества этих проектов, частных или государственных, отражена во многих официальных документах[717]. В большинстве случаев они потерпели неудачу несмотря на щедрые субсидии и кредиты, а также сильную административную поддержку. Хотя каждая неудача имела свои особенности, для большинства задуманных проектов фатальным был уровень абстрактности. Как мы увидим далее, над пристальным вниманием к местному контексту возобладали импортированная вера и абстракция.

Модернистская вера и местная практика

Противоположность импортированной веры и местных условий можно исследовать, просто сравнивая некоторые положения катехизиса высокомодернистского сельского хозяйства с местными методами, явно противоречившими им. И, как мы увидим, вопреки ожиданиям современников, эти методы оказались научно глубокими и в некоторых случаях даже превосходящими программы ведения сельского хозяйства, которые настоятельно советовали или даже навязывали сельскохозяйственные реформаторы.

Моно- и поликультурные посевы

Ничто лучше не проиллюстрирует близорукость кредо высокомодернистского сельского хозяйства, зародившегося в умеренном поясе и принесенного в тропики, чем его непоколебимая вера в превосходство монокультурной практики над практикой поликультурного хозяйства, которая имела место в большинстве стран третьего мира.

Так, изучая местные системы ведения сельского хозяйства Западной Африки, колониальные специалисты столкнулись с поразительно необычной для них практикой поликультурных посевов сразу четырех культур (не считая подвидов) на одном и том же поле[718]. Довольно показательный пример того, что предстало перед их взором, изображен на рис. 35. Наблюдатель с Запада видит в этом только небрежность и беспорядок. Поликультурные посевы не выдерживали визуального теста научного сельского хозяйства; следуя визуальной кодификации современной сельскохозяйственной практики, большинство специалистов посчитало без какого-либо дальнейшего эмпирического исследования, что наблюдаемый беспорядок был признаком засилия отсталых методов. Колониальные чиновники (а после получения колониями независимости и их местные преемники) развернули кампании, направленные на замену поликультурных посевов посадкой одной культуры.



Рис. 35. Тростниковые заграждения поперек образующихся оврагов на рисовом поле в Республике Сьерра-Леоне

Мы постепенно пришли к пониманию весьма специфической логики места: характеристик тропических почв, климата и экологии, которые помогают объяснить назначение поликультурности. Разнообразие разновидностей, естественно встречающихся в тропическом окружении, при прочих равных условиях значительно превосходит разнообразие умеренной зоны. Акр тропического леса будет иметь гораздо больше видов растений, хотя и при меньшем количестве особей каждого из них, чем акр умеренной лесистой местности. В итоге неуправляемая природа в умеренной климатической зоне кажется более упорядоченной, потому что она менее разнообразна, и это, по всей вероятности, важно для визуальной культуры представителей Запада[719]. Ведя

поликультурное сельское хозяйство, земледелец тропической зоны подражает природе в своих методах возделывания земли. Поликультурные посевы, подобно самому тропическому лесу, играют важную роль в защите бедных почв от эрозии из-за ветра, дождя и солнечного света. Кроме того, сезонность тропического сельского хозяйства больше ориентирована на период дождей, чем на температуру. По этой причине поликультурная стратегия позволяет фермерам подстраховываться, возделывая и засухоустойчивые культуры, и такие, которые могут превосходно использовать избыток влаги в случае осадков. Наконец, создание однородной управляемой сельскохозяйственной среды значительно труднее в тропическом окружении, чем в умеренном, и там, где плотность населения низка, привлечение трудовых ресурсов для террасирования или ирригации в строгом неоклассическом смысле этого слова неэкономично.

Здесь можно напомнить важное различие, отмеченное Джейн Джекобс, между визуальной организованностью, с одной стороны, и функциональным рабочим порядком, с другой. Городские новости в газете, кишечник кролика или двигатель самолета могут, конечно, выглядеть беспорядочными, но каждый из них отражает, иногда весьма блистательно, порядок, связанный с функцией, которую он выполняет. В таких случаях под видимым глазу поверхностным хаосом таится более глубокий порядок. Разительный пример тому в растительном мире представляет собой поликультурность. Очень немногие колониальные специалисты сумели разглядеть за визуальной беспорядочностью логику. Миколог Говард Джонс, работавший в Нигерии, написал в 1936 г.:

“ [Европейцу] вся система кажется... смехотворной и нелепой, и в конце концов он, вероятно, заключил бы, что объединять различные растения подобным несерьезным образом так, чтобы они могут заглушать друг друга, просто глупо. И все же, если посмотреть на это более внимательно, можно найти причины для объяснения. Растения произрастают не случайно, а посажены на надлежащих расстояниях на земляных пригорках, приспособленных так, что во время ливня вода не затопляет растения, не размывает поверхность и не смывает плодородную почву... Земля всегда занята, не высушивается солнцем, не размывается дождем, что непременно произошло бы с ней, если бы она оставалась незасаженной... Это — всего лишь один из многих примеров, который должен предупредить нас об осторожности и внимании при вынесении вердикта местному сельскому хозяйству. Вся практика сельского хозяйства и представления здешних фермеров настолько новы для нас, что из-за собственного инстинктивного консерватизма мы имеем соблазн назвать их глупыми[720].

Проницательные наблюдатели заметили иную логику ведения сельского хозяйства и в других местах тропиков. Поразительный пример визуального порядка по сравнению с действующим был приведен Эдгаром Андерсоном на основе ботанического изучения сельской Гватемалы. Он понял, что казавшиеся «буйными» и совершенно стихийными заросли, которые никакой западный житель не принял бы за сады, при более близком

осмотре оказались именно ими, причем их устройство было исключительно эффективным и хорошо продуманным. Андерсон сделал набросок одного из этих садов (рис. 36 и 37), а его описание логики, которую он в нем разглядел, стоит того, чтобы привести его достаточно подробно:

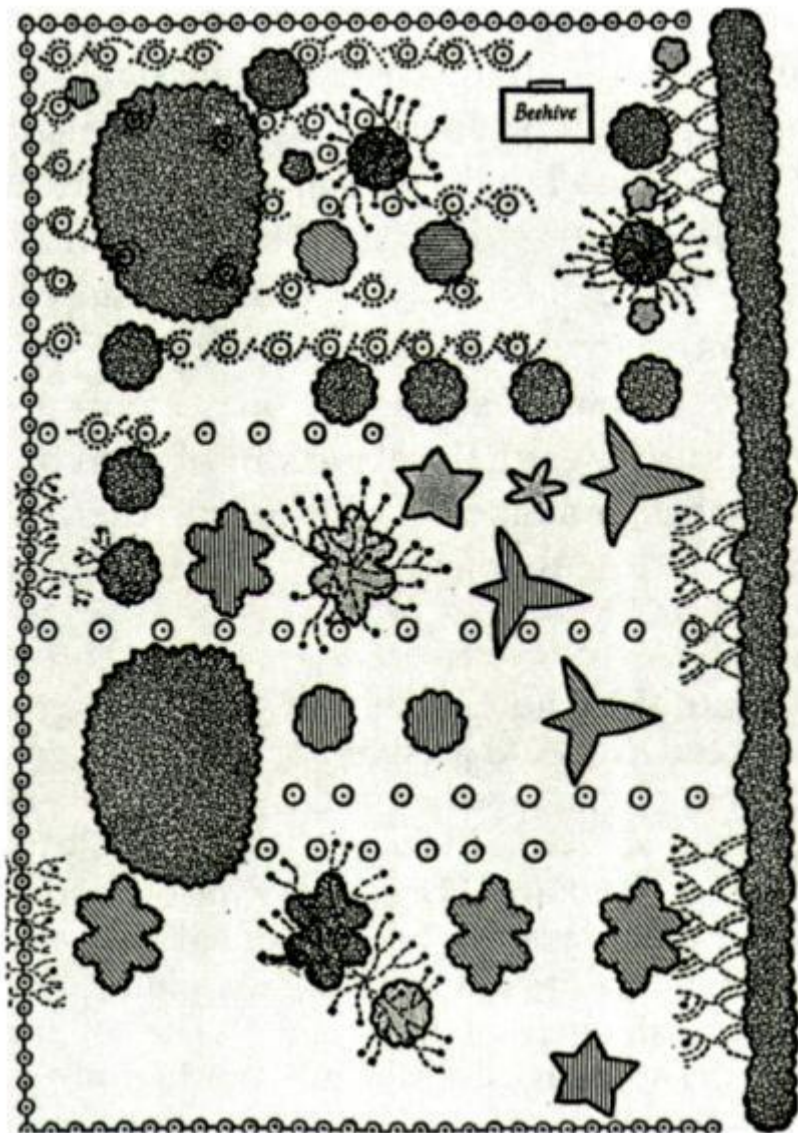


Рис. 36. Рисунок Эдгара Андерсона фруктового сада в Санта-Лючия, Гватемала

“ Хотя на первый взгляд в этом саду кажется довольно мало порядка, как только мы начали составлять его карту, мы поняли, что он был засажен довольно определенными рядами, образующими крестообразную сетку. В большом разнообразии в нем имелись местные и европейские плодовые деревья: аннона, черимойя, авокадо, персики, айва, слива, инжир и несколько кофейных кустов. Здесь выращивались гигантские кактусы из-за их плодов. Были там большой куст розмарина, одно растение душистой руты, несколько пуансеттий и прекрасная вьющаяся чайная роза, а также целый ряд местного садового боярышника, из плодов которого, похожих

на игрушечные желтые яблоки, делали изысканное варенье. Там были две разновидности кукурузы: одна — очень хорошо выдерживающая груз и служащая в качестве решетки для поднимающейся стручковой фасоли, которая только пошла в рост; другая — более высокая, выкидывающая метелки. Имелись экземпляры небольшого бананового дерева с гладкими широкими листьями, которыми местные жители пользовались вместо упаковочной бумаги, а также заворачивали в них кукурузный початок при приготовлении местного варианта горячего тамали. По всему саду вились буйные плети тыкв различных видов. Шайот, когда окончательно вызревает, имеет большой съедобный корень, весящий несколько фунтов. Яма размером с небольшую ванну, откуда недавно был выкопан корень шайота, служила местом сбора мусора и компоста из домашних отходов. В конце сада был маленький улей, сделанный из коробок и жестяных банок. По американским и европейским меркам это был огород, фруктовый сад и сад лекарственных растений, имелась мусорная свалка, компостная куча и пасека. Не было никакой проблемы эрозии, хотя сад находился на вершине крутого холма; фактически вся поверхность почвы была закрыта, и было очевидно, что так будет в течение почти всего года. Влажность обычно сохранялась в течение сухого сезона, и растения одинаковых сортов были так изолированы друг от друга зарастающей растительностью, что вредители и болезни не могли быстро распространяться. Поддерживалось и плодородие; вдобавок имелась компостная куча, а старые, отслужившие свой век растения закапывались в междурядьях.

Европейцы и европейские американцы часто говорят, что для индейца время ничего не значит. При более глубоком рассмотрении практики индейцев подобный сад кажется мне хорошим примером того факта, что они распределяют свое время более эффективно, чем это делаем мы. Сад непрерывно давал продукцию, но требовал очень малых усилий: выдернуть по пути несколько сорняков, когда кто-нибудь приходит набрать падалиц, посеять кукурузу и бобовые растения в междурядьях после окончательного сбора урожая с вьющихся бобов, кроме того, несколькими неделями позже посадить еще какую-нибудь новую культуру[721].

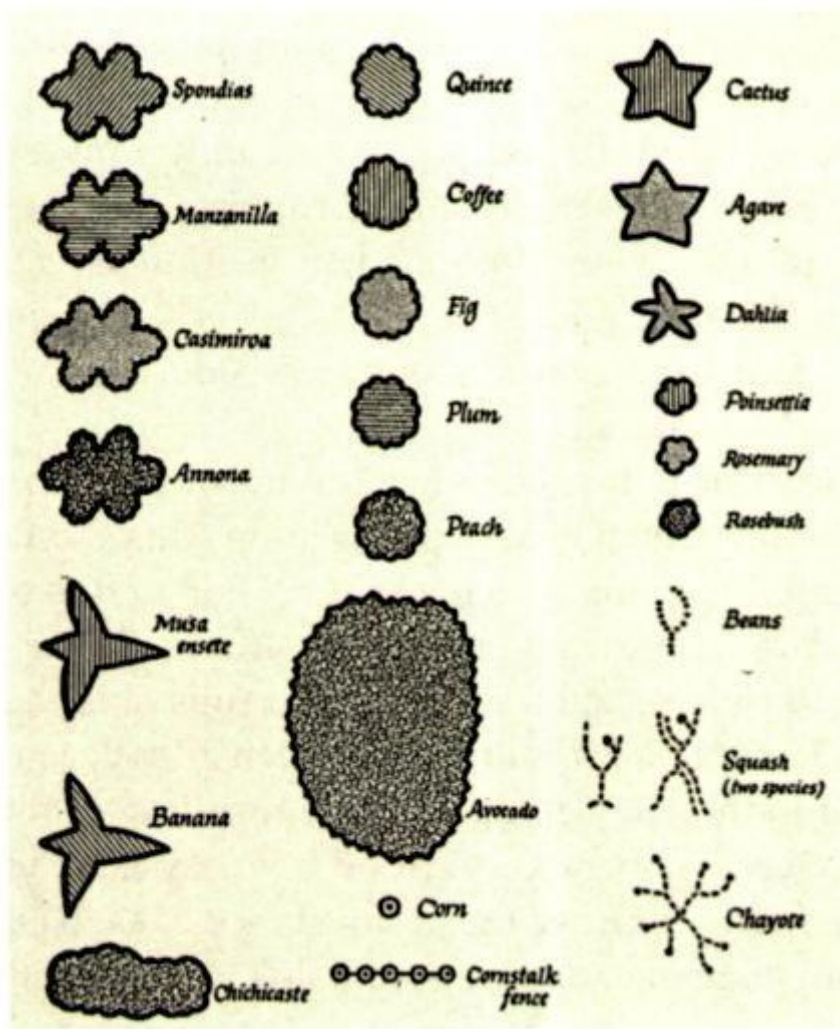


Рис. 37. На рисунке фруктового сада в Санта-Лючия Андерсон использовал символические знаки, которые идентифицируют не только растения, но и их общие категории. Круговые знаки указывают на плодовые деревья европейского происхождения (слива, персик); скругленные, неправильной формы — плодовые деревья американского происхождения (манзанилла). Пунктирные линии отмечают набирающие рост овощи, маленькие круги — полукустарники, большие звездочки — суккуленты, фигурки в форме клина — растения из семейства банановых. Узкая полоса, видимая с правой стороны рис. 36, представляет собой живую изгородь из чичикаста — кустарника, используемого народностью майя

Подобно логике гватемальского сада, логика поликультурного земледелия жителей Западной Африки долгое время не признавалась из-за кажущейся примитивности, но в конце концов была принята. По сути дела, эти системы и исследовать-то стали отчасти потому, что многие монокультурные схемы ведения сельского хозяйства потерпели неудачу. Часто выгода была очевидна уже на уровне только продуктивности, и как только другие цели — сохранение, консервирование, надежность — были достигнуты, преимущества поликультурных систем оказались особенно впечатляющими.

Ведение различных форм поликультурных посевов является нормой для 80% сельхозугодий Западной Африки[722]. С учетом того, что мы уже знаем, это не должно вызывать удивления. Системы посадок смешанных культур лучше всего приспособлены к малоплодородным почвам, характерным для большинства земель Западной Африки.

Использование их на таких почвах дает большую прибыль от урожая, чем на плодородных[723]. Одной из причин, по-видимому, является то, что в смешанных посадках оптимальная плотность насаждений больше, чем в посадках одной культуры, и итоговая густота (причины этого понять нелегко, но, в общем, они имеют отношение к действию корневых грибков) улучшает производительность каждой культуры. На более поздних стадиях посевов большая густота помогает также подавить сорняки, которые в противном случае являются главным бедствием в сельском хозяйстве тропиков. Так как техника смешения культур обычно комбинирует зерновые и стручковые культуры (маис и сорго, например, с вигной китайской и арахисом), каждая культура достаточно обеспечивается питанием — их корневые системы извлекают питательные вещества из разных уровней почвы[724]. Кроме того, оказывается, что в случае посменного сбора урожая отходы от первой собранной культуры используются оставшейся. Разнообразие в пределах одного и того же поля также идет на пользу здоровью культур, а, следовательно, и увеличивает урожай. Смешение культур и распределенная посадка ограничивают среду обитания различных вредителей, болезней и сорняков, которые иначе могут быстро распространяться, как это и происходит на участках с одной культурой[725]. Между прочим два специалиста, далеко опередившие уровень агрономической науки 1930-х — 1940-х годов, уже тогда предположили, что «систематическое изучение смешения культур и других местных методов могло бы привести к сравнительно незначительным изменениям в сельском хозяйстве Йорубы и других районов, которые в совокупности сделали бы больше для увеличения урожайности культур и плодородия почвы, чем революционный переход к растительным удобрениям или смешанному землепользованию»[726].

Поликультурность посевов имеет многоярусное влияние на урожайность культур и сохранение почвы. «Верхние этажи» затеняют «более низкие», отобранные по их способности хорошо расти при более прохладных почвенных температурах и повышенной влажности у основания. Ливень достигает земли не непосредственно, а как живительный душ, который поглощается с меньшим ущербом для структуры почвы и вызывает меньшую эрозию. Более высокие культуры часто служат ветровым заслоном для более низких. Наконец, в смешанном или севооборотном посеве на поле все время растет культура, скрепляющая почву и уменьшающая выщелачивание, связанное с действием солнца, дождя и ветра, особенно на бедной земле. Даже если поликультурным посевам не отдается предпочтения в ожидании непосредственного урожая, есть много оснований для рекомендации их в целях поддержания непрерывного долгосрочного производства.

Наше обсуждение смешанных посевов до сих пор касалось только проблем сохранения почвы и урожая. Оно не затрагивало самих земледельцев и их надежд на получение некоторых других результатов при использовании таких методов. Наиболее существенное преимущество смешения культур, утверждает Пол Ричардс, в его большой гибкости, «возможности, которые [оно] предлагает для большого числа нужных комбинаций, соответствующих индивидуальным потребностям и предпочтениям, местным условиям и изменяющимся обстоятельствам в пределах каждого времени года и от сезона к сезону»[727]. Фермеры могут совмещать различные культуры, чтобы избежать нехватки рабочей силы при посадке и сборе урожая[728]. Выращивание различных культур есть также очевидный способ уменьшить риск потери урожая и улучшить продовольственную безопасность. Земледельцы могут уменьшить опасность остаться голодными, если они

посеют не просто одну или две какие-то культуры, а те, которые созревают быстро и медленно, засухоустойчивые и такие, которые прекрасно себя чувствуют при более влажных условиях, культуры, обладающие разной стойкостью к вредителям и болезням, которые можно хранить в земле с незначительными потерями (вроде маниоки), и культуры, созревающие в «голодное время» — до сбора урожая других культур[729]. Наконец, что, возможно, наиболее важно, каждая из этих культур включена в определенный набор социальных отношений. Разные члены хозяйства, очевидно, имеют различные права и обязанности по отношению к каждой культуре. Другими словами, практика растениеводства отражала социальные отношения, приобретенные потребности и кулинарные вкусы; она не представляла собой простую производственную стратегию, которую использовал бы предприниматель, заинтересованный в получении максимальной прибыли, беря ее прямо со страниц учебника по неоклассической экономике.

Высокомодернистские эстетика и идеология большинства колониальных агрономов и их преемников, обученных на Западе, исключали беспристрастную экспертизу местных методов земледелия, расценивавшихся как прискорбные предрассудки, которые нужно откорректировать с позиций современного научного сельского хозяйства. Критический анализ таких доминирующих идей, как высокий модернизм, появляется — если он вообще возможен — не внутри самой идеологии, а, как правило, со стороны, где точка отправления мысли и сделанные предположения, как это имело место в случае Джекобс, существенно другие. Так, разумность совмещения культур в значительной степени была доказана энергичными людьми вне истеблишмента.

Возможно, наиболее впечатляющей фигурой был Альберт Говард (позднее сэр Альберт), сельскохозяйственный исследователь, который более трех десятилетий работал на местные власти в Индии. Известный в связи с Индорским процессом — технологией создания перегноя из органических отходов, он в отличие от большинства западных агрономов был энергичным исследователем экологии леса и местных методов. Занятый прежде всего вопросами плодородия почвы и жизнеспособности сельского хозяйства, Говард заметил, что естественное разнообразие леса и местная практика поликультурных посевов успешно поддерживали и улучшали качество и плодородие почвы. Плодородие зависело не только от химического состава почвы, но и от ее структурных свойств: обработки (или структуры ее комочков), степени ее аэрации, способности сохранения влаги и «микоризальных ассоциаций», необходимых для создания перегноя[730]. Некоторые, хотя не все элементы этого сложного почвенного взаимодействия могли быть определены, в то время как на другие можно только указать — их не так легко оценить. Говард провел сложные эксперименты по производству перегноя, проверяя структуру почвы и ответную реакцию растений, и смог на испытательном поле продемонстрировать такой урожай, который превосходил все результаты, достигнутые стандартными западными методами. Однако его главной целью было не число бушелей пшеницы или кукурузы, полученных с акра земли, а жизнеспособность и качество культур и почвы на протяжении долгого использования.

Поликультурность проложила себе дорогу назад на Запад, хотя в защиту ее выступало незначительное меньшинство. Рейчел Карсон в своей революционной книге «Тихая весна», изданной в 1962 г., проследила разрушительное действие массированных доз пестицидов и гербицидов на монокультурные посадки. Проблема с насекомыми, объясняла она,

проистекала из «предоставления огромных площадей земли для единственной культуры. Такая система закладывала основу для стремительного роста определенных популяций насекомых. Монокультурное сельское хозяйство не использует законы, по которым работает природа, это просто вмешательство в нее агроинженерии. Природа представляет большое разнообразие пейзажа, а человек выражает страсть к его упрощению... Очень важно ограничить среду обитания для каждой разновидности насекомых»[731]. Точно так же, как Говард полагал, что монокультурность привела к потере плодородия почвы при возрастающем использовании химических удобрений (260 фунтов на акр в Соединенных Штатах в 1970 г.), так и Кареон доказывала, что монокультурность, порождающая бурное развитие популяции вредителей и их изменение при массированном применении инсектицидов, оказалась лекарством, которое хуже самой болезни.

Эти и некоторые другие причины дают хотя бы слабые указания на то, что некоторые формы ведения поликультурного хозяйства могут быть приемлемы как для западных, так и для африканских фермеров[732]. Здесь совсем не место попыткам продемонстрировать превосходство поликультурного хозяйства над монокультурным, да я не компетентен в этом. Однозначного ответа на этот вопрос нет, поскольку все зависит от числа переменных, включая поставленные цели, посеянные культуры и условия микроокружения, в которых они были посажены.

Однако я действительно пытался показать, что поликультурность, даже при узких, ориентированных только на получение необходимой продукции основаниях, одобренных западной агрономией, заслужила, по крайней мере, эмпирическую экспертизу просто как одна из многих сельскохозяйственных направлений. То, что она была без долгих рассуждений отклонена кучкой жуликоватых агрономов, было данью мощи империалистической идеологии и визуального эстетизма сельскохозяйственного высокого модернизма.

Пример с поликультурностью также имеет отношение к проблеме, важной как для сельскохозяйственной практики, так и для социальной структуры, проблеме, над которой мы будем размышлять в оставшейся части книги: *способности к приспособлению и долговечности разнообразия*. Какими бы ни были другие достоинства или недостатки поликультурности, она является более устойчивой, легче приспосабливаемой формой ведения сельского хозяйства, чем монокультурность. Она, вероятнее всего, даст то, что экономисты называют доходом Хикса, — доход, который, не подрывая совокупности факторов производства, сохраняется без ограничения в будущем. И в то же время поликультурность более податлива и приспосабливаема, т. е. поликультурные посевы способны переносить непогоду и любой вред без опустошительных последствий. Одно недавнее элегантное исследование показало, что (по крайней мере до определенного момента) чем больше культур растет на данном участке земли, тем больше его производительность и регенерирующая способность[733]. Как мы уже знаем, поликультурные посевы более стойки к капризам погоды и вредителям, не говоря уже о благотворном влиянии на почву. Даже если считать, что монокультурность всегда дает превосходящий урожай, все же поликультурность следует рассматривать с точки зрения решающих долгосрочных преимуществ[734]. Приводившийся пример из области лесоводства имеет некоторую связь с сельским хозяйством: однопородные леса и в

Германии, и в Японии привели к настолько серьезным экологическим проблемам, что для их спасения пришлось прибегнуть к восстановлению, чтобы реставрировать хоть что-то похожее на прежнее разнообразие (среди насекомых, во флоре и фауне), необходимое для здоровья леса[735].

Стоит отметить определенную параллель между разнообразием в сельском хозяйстве и лесоводстве и приведенным Джекобс примером разнообразия в городских кварталах. Чем сложнее структура квартала, рассуждала она, тем лучше он будет противостоять краткосрочным кризисам в делах и рыночных ценах. Кроме того, разнообразие обеспечивает много потенциальных возможностей для извлечения выгоды. В противоположность этому, узкоспециализированный квартал подобен игроку, ставящему все на один кон рулетки. Он либо много выигрывает, либо все теряет. Конечно, для Джекобс ключевым моментом в разнообразии кварталов является то, что оно благоприятствует *человеческой* экологии. Разнообразие структуры квартала обеспечивает в данном районе разнообразие товаров и услуг, а также сложных человеческих взаимосвязей; безопасное пешее движение; видимая простым глазом картина оживленности и удобства — все это находится во взаимодействии и делает преимущества такого положения вещей кумулятивными[736]. По-видимому, разнообразие и сложность, которые способствуют долговечности и приспособленности растительных систем, на другом уровне заставляют человеческие общины стать более подвижными и более удовлетворяющими запросы населения.

Постоянные поля и переложное земледелие

Большинство западноафриканских фермеров применяло ту или иную форму севооборота[737]. Называемое по-разному — «подсечно-огневое» земледелие, переложное, чередование пашни и пара — севооборотное земледелие представляло собой временное культивирование поля, расчищенного при вырубке и сжигании большей части растительности. После использования в течение нескольких лет поле забрасывалось и разрабатывался новый участок. Со временем, когда плодородие почвы восстанавливалось почти до прежнего состояния, поле снова возделывалось. Поликультурное хозяйство и минимальная обработка почвы часто объединялись с переложным земледелием.

Подобно поликультурности, переложное земледелие, как мы увидим, представляло собой рациональную, эффективную и жизнеспособную практику для почв, климата и социальных условий, где оно обычно применялось. В целом поликультурность и чередование возделываемых полей связаны между собой. В своем первом, подробном и все еще непревзойденном отчете о переложном земледелии на Филиппинах Гарольд Конклин[738] отметил, что на вновь расчищенном участке *среднее* число культур за один только сезон варьировалось от 40 до 60. В то же самое время переложное земледелие — исключительно сложная и, следовательно, весьма запутанная форма ведения хозяйства с точки зрения независимого государства и его консультантов по вопросам сельского хозяйства. Сами поля, то культивируемые, то под паром, при нерегулярных временных интервалах были «эфемерны» и едва ли представляли многообещающий материал для кадастровой карты. Конечно, и сами земледельцы, периодически переезжая на вновь разрабатываемые земли, тоже были часто неуловимы. Регистрация или контроль такого населения, уже не говоря о превращении людей в успешно облагаемых налогоплательщиков, — просто сизифов

труд[739]. Проект государства и сельскохозяйственных властей, как можно было видеть в Танзании, состоял в том, чтобы заменить это запутанное и потенциально мятежное пространство на постоянные поселения и долговременные (предпочтительно монокультурные) поля.

Переложное земледелие раздражало сельскохозяйственных модернизаторов любой расы еще и потому, что почти по каждому пункту оно нарушало их понимание того, как *должно* выглядеть современное сельское хозяйство. «Поначалу отношение к переложному земледелию было почти полностью отрицательным, — отмечает Ричардс. — Оно казалось плохим методом: варварским, небрежным и неправильным»[740]. Точно выверенная логика чередования культивирования не сильно зависела от среды, копируя, насколько и где это было возможно, многое из симбиотических сообществ местных растений. Это делало поля более похожими на нетронутую природу, чем на аккуратно вырезанные прямоугольники, к которым привыкло большинство сельскохозяйственных чиновников.

Другими словами, причиной внешних проявлений, которые так оскорбляли взгляд чиновников, занимающихся усовершенствованием, была экологическая предусмотрительность переложного земледелия. Практика смены обработанного поля паром имела много других преимуществ, которые тоже обычно не ценились по достоинству. Она поддерживала физические характеристики расположенных на возвышенностях почв, которые, будучи однажды нарушенными, очень трудно восстанавливались. Чередование возделываемых полей в тех местах, где земли было много, гарантировало долговременную стабильность подобной практики. Земледельцы, занимающиеся севооборотом, не выкорчевывали большие деревья или пни — эта традиция ограничивала эрозию и помогала почвообразованию, но расценивалась сельскохозяйственными чиновниками как небрежность. За некоторыми исключениями подсечно-огневые участки чаще возделывались мотыгой или тяпкой, а не плугом. Агрономам, ориентированным на западные формы земледелия, казалось, что фермеры просто «царапали» почву из-за прискорбного невежества или лени. Обнаружив системы сельского хозяйства, использующие глубокую вспашку и монокультурность, они считали, что встретили более продвинутое и трудолюбивое население[741]. Сжигание низкого кустарника, собранного в ходе очистки нового участка, также осуждалось как расточительство. Однако спустя некоторое время и неглубокое возделывание земли, и сжигание кустарника в поле были признаны чрезвычайно полезными; первый метод сохранял почву, особенно в тех областях, где шли сильные ливни, а второй сокращал популяции вредителей и обеспечивал культуры ценными питательными веществами. Фактически эксперименты показали, что сжигание кустарника *в поле* (без вывоза) способствовало улучшению урожаев в той же мере, что и продуманное регулярное выжигание[742].

На западный взгляд все это можно было выразить одним словом — отсталость: кучи кустарника, подготовленные для сожжения на невспаханных, плохо очищенных полях с торчащими пнями, поля засажены несколькими разными культурами, причем ни одна из них не посеяна прямыми рядами. И все же, по мере накопления веских доказательств в пользу этих методов становилось понятно, что внешний вид был обманчивым, даже в отношении производительности. Как заключает Ричардс, «надлежащая проверка любой практики состоит в том, работает ли она в соответствующей окружающей среде, независимо от того,

как она выглядит: передовой или отсталой. Проверка требует тщательно выверенных начальных и конечных данных. Если неглубокая вспашка на частично очищенной земле при прочих равных условиях дает лучшие результаты, чем соперничающие практики, и эти результаты могут быть проверены временем, то этот метод хорош независимо от того, был ли он изобретен вчера или тысячу лет назад»[743]. В первоначальном единодушном осуждении переложной системы даже не задумывались о том, что эта практика африканских земледельцев сильно отличается от обычного способа. Большинство фермеров комбинировало постоянные поля в поймах с подсечно-огневым земледелием на более слабых по структуре почвах склонов, нагорья или лесов. Считалось, что большинство земледельцев, ведущих переложное земледелие, выбирало столько методов возделывания культур от незнания лучшего.

Удобрение и плодородие

“ Лучшее удобрение на любой ферме — следы ног владельца.

Конфуций

Химические удобрения часто рекламировались как волшебное средство для улучшения бедных почв и повышения урожаев; консультанты по вопросам сельского хозяйства обычно рассматривали удобрения и пестициды как лекарство для почвы. На деле результаты их применения часто разочаровывают. Две главные причины для разочарования непосредственно относятся к нашей более широкой дискуссии.

Во-первых, рекомендации по применению удобрений являются неизбежно грубыми упрощениями. Их применимость к *любому полю* сомнительна, так как на карте классификации почв наверняка пропущено огромное число микроразновидностей их в пределах самих полей и между ними. Условия, при которых применяются удобрения, дозировка, структура почв, предназначенные для них культуры, погода, непосредственно предшествующая их применению, и та, которая была после, — все это может очень сильно повлиять на эффект от удобрений. Как заключает Ричардс, неизбежное различие ферм и полей «вероятнее всего, потребует более непредвзятого подхода от фермеров, самостоятельно занимающихся необходимым экспериментированием»[744].

Во-вторых, формулы удобрений страдают аналитической узостью. Сами формулы берут начало из работы замечательного немецкого ученого Юстуса Фрайхера фон Либига, который в классическом труде, изданном в 1840 г., перечислил главные химические питательные вещества, находящиеся в почве, и которому мы до сих пор обязаны за общераспространенный стандартный рецепт удобрения (N, P, K). Это блестящее научное достижение давало далеко идущие и, как правило, очень полезные результаты. Однако применение его иногда приносило неприятности в том именно случае, когда оно изображало «имперское» знание, т. е. рекламировалось как способ, с помощью которого могли быть восполнены все недостатки почвы[745]. Говард и другие ученые аккуратно продемонстрировали, что существует ряд переменных — физическая структура почвы, ее

аэрация, глубина вспашки, перегной и соединения микроорганизмов, которые сильно влияют на питание растений и плодородие почвы[746]. Химические удобрения могут на деле настолько основательно окислить полезное органическое вещество, что, разрушат его комковую структуру и положат начало процессу, выщелачивания почвы и потере ее плодородия[747].

Здесь более важен основной пункт, чем детали: действующее почвоведение не должно ограничиваться знанием химических питательных веществ, оно должно охватывать элементы физики, бактериологии, энтомологии и геологии, и это только минимальный перечень. В идеале практический подход к удобрениям требует одновременно и общих междисциплинарных знаний, которыми вряд ли будет владеть каждый отдельный специалист, и внимания к особенностям данного конкретного поля, которое, вероятнее всего, будет уделять только фермер. Технологический процесс, сочетающий чисто химическое питание почвы с сетками их классификации, в итоге проходит мимо данного конкретного поля, он мало того, что неэффективен, он может принести страшный вред.

История «несанкционированного» новаторства

Большинство колониальных чиновников и их преемников были ослеплены высокомодернистскими намерениями, которые привели к выработке ошибочных предположений о развитии местного сельского хозяйства. Местный сельскохозяйственный опыт, значительно отличающийся от несвоевременных, статичных и негибких новых методов, постоянно пересматривался и приспособлялся к современным приемам. Частично эта приспособляемость шла за счет широкого репертуара методов, которые могли быть адаптированы, например, к ливням, почвам, уклону земли, рыночным возможностям и трудовым ресурсам. Большинство африканских земледельцев, как правило, использовало не одну только практику сезонного земледелия, но и многое другое, в частности «экзотические культуры» Нового Света. В итоге к разнообразной африканской растительности добавились кукуруза, маниока, картофель, стручковый перец и некоторые сорта бобовых и тыквенных растений[748].

Экспериментирование «на ферме», селекционирование и адаптация культур имеет, конечно, очень длинную историю и в Африке, и на других континентах. Этноботанике и палеоботанике удалось проследить вплоть до некоторых исторических деталей, как гибриды и разновидности, к примеру, основных культур Старого Света или кукурузы Нового Света были отобраны и размножены для различных целей и при различных условиях выращивания. Аналогичное наблюдение велось за теми растениями, которые размножаются вегетативно, т. е. быстрее отростками, чем семенами[749].

На самый беспристрастный взгляд есть много оснований рассматривать каждую африканскую ферму как экспериментальную станцию небольшого масштаба. Понятно, что любое сообщество земледельцев, вынужденное добывать средства для своего существования в скудной и изменчивой среде, редко пропустит возможность улучшить свое благополучие и снабжение продовольствием. Конечно, у всякого местного знания свои пределы. Местные земледельцы, прекрасно знающие свое окружение и его возможности, конечно, испытывали недостаток в информации, которую они могли бы получить с помощью

таких достижений науки, как микроскоп, аэрофотосъемка и научная селекция растений. Им, как и многим другим земледельцам, не хватало технологий, позволяющих, например, создавать крупномасштабные ирригационные системы и высокомеханизированное сельское хозяйство. Как и крестьяне средиземноморского бассейна, Китая и Индии, африканские земледельцы могли и сами нанести ущерб своей экосистеме, хотя низкий удельный вес населения пока что удерживал их от этого[750]. Но большинство сельскохозяйственных специалистов, оценив обширность знаний местных фермеров, их деловой экспериментальный характер и готовность перенимать новые культуры и методы для своих нужд, согласились бы с Робертом Чамберсом в том, что «местное сельскохозяйственное знание, несмотря на то, что его игнорировали или не принимали эксперты-консультанты, является единственным источником информации, все еще не нашедшим применения в хозяйственном развитии»[751].

Ведомственные отношения в высокомодернистском сельском хозяйстве

Вероятно, преднамеренное презрение к местной компетентности, выраженное большинством сельскохозяйственных специалистов, было не просто итогом предубеждения (образованной городской и ориентированной на Запад элиты по отношению к крестьянству) или результатом эстетической предвзятости, также заложенной в высоком модернизме. Скорее всего, сущностью официальной позиции было установление привилегий. Предположить, что местные методы земледелия вполне разумны, пока не доказано противоположное, что специалисты и фермеры могут многому научиться друг у друга, что специалисты должны договариваться с фермерами как с полноправными политическими субъектами, означало бы подрывать установленный статус чиновников и власти вообще. Скрытая логика, лежащая в основе большинства государственных проектов сельскохозяйственной модернизации, была направлена на усиление власти центральных учреждений и уменьшение автономии земледельцев и их общин в отношении этих учреждений. Каждая новая действующая практика подгоняется к существующему распределению власти, благосостояния и статуса, и требования к сельскохозяйственным специалистам, чтобы они были независимыми работниками, не имея соответствующих прав, едва ли могут быть приняты всерьез[752].

Совершенно очевиден централизующий эффект советской коллективизации и деревень уджамаа. То же можно сказать и о тех больших ирригационных проектах, где властные структуры решают, когда пустить воду, как ее распределить и какую за нее взимать плату, или о сельскохозяйственных плантациях, где рабочая сила контролируется, как на фабрике[753]. Результатом такой централизации и такого контроля будет полная дисквалификация поработанных крестьян. Это справедливо даже для семейных ферм в условиях либеральной экономики, такова по сути утопическая перспектива, которую обрисовал Либерти Хайд Бейли, растениевод-селекционер, выдающийся деятель сельскохозяйственной науки и председатель Комиссии по сельской жизни при Теодоре Рузвельте. Бейли заявил: «В сельской местности будут введены должности докторов растений, агрономов-селекционеров, почвоведов, специалистов здравоохранения, работников по обрезке и опылению, лесоводов, организаторов досуга, рыночных экспертов, ... [и] консультантов по ведению домашнего хозяйства, ... [все, кто] способен предоставить квалифицированный совет и руководство»[754]. Будущее, обрисованное Бейли, почти полностью организовывалось управленческой элитой: «Мы не должны представлять себе общество, полностью составленное из маленьких отдельных пространств „семейных ферм“,

населенных людьми, которые просто всем удовлетворены; это означало бы, что все земледельцы станут чернорабочими. В сельской местности нам нужны люди, которые, обладая большими организаторскими способностями, могут действовать смело и ответственно; было бы очень скверно в социальном и духовном плане, если бы такие люди не могли найти себе адекватного приложения на земле и были бы вынуждены искать себе занятие в других сферах»[755].

Несмотря на эти полные надежды заявления и намерения, если тщательно исследовать многие из сельскохозяйственных новаций XX в., которые казались абсолютно техническими, следовательно, независимыми, нельзя не прийти к выводу, что большинство из них способствовало созданию коммерческих и политических монополий, которые неизбежно уменьшали независимость фермера. Революция в растениеводстве, связанная с появлением гибридных семян (особенно кукурузы), дала именно этот результат[756]. Так как гибриды или бесплодны, или не размножаются «правильно», семенная компания, которая вывела исходные кросс-гибридные растения, имеет значительную собственность в производстве их семян, которыми она может торговать каждый год, в отличие от самоопыляющихся видов, которые фермер может выводить самостоятельно[757].

Подобная (хотя и не идентичная) централизующая логика применялась к дающим высокие урожаи (HYVs) разновидностям пшеницы, риса и кукурузы, выведенным за последние 30 лет. Их значительный вклад в урожай (сильно зависящий от культуры и условий выращивания) обусловлен счастливым сочетанием хорошего усвоения азота и наличия коротких жестких стеблей, которые предотвращали полегание культуры. Получение большого урожая этих видов требовало изобилия воды (обычно посредством ирригации), применения большого количества химических удобрений и периодического использования пестицидов. Механизация полевой подготовки и сбора урожая была также на высоком уровне. Как и с гибридами, недостаток биологического разнообразия на полях подразумевал, что каждое поколение HYVs наверняка подвергнется атаке грибов, ржавчины или насекомых, в результате потребуются покупка новых семян и новых пестицидов (так как у насекомых вырабатывалась сопротивляемость к ним). Иными словами, биологическая гонка за удобрениями и пестицидами при полной убежденности растениеводов и химиков в том, что они могут продолжать ее до победного конца, все больше отдаст земледельца в руки общественных и частных специалистов. Как и в демократических аспектах политики Ньерере, те пункты исследования и политики, которые могли бы угрожать положению управленческой элиты, или не применялись вообще, или же, если применялись, то всячески тормозились при ее проведении.

Упрощающие предположения сельскохозяйственной науки

“ Подобная попытка при тоталитарном управлении — приглашение к беспорядку. И, кажется, правило таково: чем тверже и исключительнее круг обязанностей специалиста, чем строже контроль в пределах этого круга, тем больший беспорядок бушует вокруг. Можно в оранжерее выращивать летние овощи зимой, но при этом возникает зависимость от капризов погоды и появляется возможность неудачи там, где этого раньше не было. Осуществление такого контроля, с помощью которого саженец помидора растет в январе, намного проблематичнее, чем естественное регулирование, при котором в январе зимуют дуб или синица.

Узделл Берри. Неустроенность Америки

Большинство положений государственных программ развития не было простой прихотью властной верхушки. Даже виллажизация в Танзании долго была объектом вполне логичного агроэкономического анализа. Проектам введения таких новых культур, как хлопок, табак, арахис и рис, как и планам механизации, ирригации и графикам внесения удобрений, предшествовали длительные технические исследования и полевые испытания. Почему же тогда такое большое число этих схем не сумело достигнуть результатов, которые предсказывались? Другой вопрос, тесно связанный с этим, к рассмотрению которого мы обратимся в следующей главе: почему так много удачных новаций в сельскохозяйственных методах и производстве исходят не от государственной инициативы, а непосредственно от самих земледельцев.

Выделение экспериментальных переменных

Как мне кажется, существенная часть проблемы заключается в систематических и необходимых ограничениях научной деятельности *всякий* раз, когда дело доходит до ее практического принятия разными группами практиков, работающих в весьма различных

условиях. Это означает, что некоторые из проблемных ситуаций глубже, чем просто ведомственные стремления к центральному управлению, административные искажения или склонность к эстетически привлекательным, но неэкономичным показательным проектам. Даже при наилучших условиях опытные результаты и данные, полученные с экспериментальных участков исследовательских станций, далеки от того человеческого и естественного окружения, в котором они и должны найти свое приложение.

Исторически естественная деятельность научного сельскохозяйственного исследования в основном сосредоточивалась на экспериментах с перебором сельскохозяйственных культур, ставящих целью проверить урожайность разных видов. Позже предметом исследования стали и другие переменные: производительность при различных почвах и разнообразных условиях влажности, определение гибридов, противостоящих полеганию или допускающих по условиям созревания механическую уборку. В экологических исследованиях часто использовались те же методы: выделялись одна за другой переменные, которые могли бы вносить вклад, скажем, в биологическую устойчивость некоторого сорта фруктов по отношению к определенному вредителю.

Выделение небольшого числа переменных величин, в идеале всего двух, при контроле остальных является ключевым принципом постановки эксперимента[758]. Как процедура этот принцип одновременно и ценен, и необходим для научной работы. Только при радикальном упрощении экспериментальной ситуации удастся гарантировать однозначные, поддающиеся проверке, объективные и универсальные результаты[759]. Один из первых основателей теории хаоса выразился следующим образом: «Физика содержит фундаментальное положение: способ, с помощью которого вы понимаете мир, состоит в том, что вы разбираете его на составляющие, пока не дойдете до тех, которые посчитаете действительно основополагающими. Тогда вы предполагаете, что остальные составляющие, которых вы не понимаете, — это детали. Допущение состоит в том, что число принципов, которые вы можете выявить, представляя вещи в их чистом виде — в виде чисто аналитического понятия, невелико, а когда приходится решать более *сложные* задачи, вы представляете их несколько более сложным образом. *Если только сумеете*»[760]. В сельскохозяйственном исследовании управление всеми возможными переменными, кроме тех, которые находились под наблюдением, требовало нормализации таких переменных, как погода, состав почвы и окружающая природа, не говоря уже о скрытых допущениях относительно размера хозяйства, наличия трудовых ресурсов и желаний самих земледельцев. Конечно, больше всего приближалось к идеалу контроля «лабораторное исследование»[761]. Однако даже сам по себе экспериментальный участок на исследовательской станции — радикальное упрощение: он до крайности усиливает контроль «в пределах маленького и сильно упрощенного замкнутого пространства» и игнорирует все остальное, «оставляя его полностью бесконтрольным»[762].

Легко видеть, как удобно в пределах этой парадигмы подходят друг другу монокультурность и забота об урожайности. Монокультурность исключает все, что может усложнить проект, а забота о больших урожаях позволяет избегать тернистых оценочных проблем, которые определенно возникли бы, если бы целью были определенное качество или вкус. Научное лесоводство становится наипростейшим, когда оно заинтересовано только в коммерческой древесине, получаемой от определенного вида деревьев. То же

самое можно сказать о научном сельском хозяйстве, когда оно решает вопрос наиболее эффективного пути получения максимального числа бушелей зерна от одного гибрида кукурузы с «нормированного» акра земли.

При движении от лаборатории до опытного участка на экспериментальной станции, а затем к полевым испытаниям на реальных фермах экспериментальный настрой утрачивается. Ричардс обращает внимание на трудности исследователей в Западной Африке, заинтересованных в более практическом характере своих изысканий, но все же желающих как-то ослабить экспериментальные условия. После обсуждения вопроса о том, каким образом отобранные для испытаний фермы сделать однородными, чтобы представлять результаты в единой форме, исследователи продолжали сетовать на то, что экспериментальный контроль был утерян за пределами опытной станции. «Может оказаться трудным, — писали они, — повсеместно произвести посадку в течение нескольких дней и почти невозможным найти фермерские участки с одинаковой почвой». И продолжали: «Другие типы *помех*, такие как нападения вредителей или плохая погода, могут заставить выполнять иные процедуры»[763]. Это, объясняет Ричардс, «полезное указание на одну из причин, в соответствии с которой „формальные“ научно-исследовательские процедуры на опытных станциях, усиливая контроль всех переменных, кроме одной-двух при направленном исследовании, „пропускают главный“ предмет беспокойства многих мелких фермеров. Основная забота фермеров — как справиться с этими сложными помехами и незапланированными явлениями. С точки зрения ученого (особенно в связи с потребностью обеспечить четкие результаты для публикации), экспериментирование на ферме оборачивается трудноразрешимой проблемой»[764].

На том уровне, где наука сталкивается со сложным взаимодействием многих переменных одновременно, она начинает терять именно те характеристики, благодаря которым она и является наукой. Даже объединение многих узких экспериментальных работ, касающихся отдельных аспектов высокой сложности, в действительности не даст того же самого целого. Повторюсь — это не выпад против экспериментальных методов современного научного исследования. Любое проведенное на ферме обширное исследование, не уменьшающее сложности взаимодействий, могло бы показать, что могут сделать фермеры, обладая набором методов, давших «хорошие результаты», например высокие урожаи. Но оно не способно изолировать ключевые факторы, ответственные за этот результат. Мое исследование признает силу и полезность научной работы в пределах ее сферы, а также признает ее ограниченность в работе с теми проблемами, для которых ее методы не подходят.

Слепые пятна

Возвращаясь к примеру с поликультурным ведением сельского хозяйства, можно понять, почему у ученых-агрономов имеются научные, эстетические и ведомственные основания для его неприятия. Сложные формы ведения межкультурных посадок подбрасывают *слишком много переменных* в одну игру, чтобы можно было однозначно экспериментально установить причинно-следственные отношения. Известно, что некоторые методы ведения поликультурного хозяйства, особенно комбинированные посадки бобовых растений, удерживающих азот, с зерновыми культурами, весьма продуктивны, но очень мало известно

о природе взаимодействий, порождающих эти результаты[765]. Разбираясь в причинных связях, мы сталкиваемся с проблемами даже тогда, когда ограничиваем внимание одной переменной — урожаем[766]. Если мы ослабим это ограничение фокуса и начнем рассматривать более широкий диапазон зависимых переменных, таких как плодородие почвы, взаимосвязь с содержанием домашнего скота (фураж, удобрение навозом), совместимость с семейной рабочей силой и т. д., трудности сопоставления скоро станут не под силу научному методу.

Здесь характер научной проблемы аналогичен тому, что наблюдается в сложных физических системах. Изящно простые формулы механических законов Ньютона позволяют относительно легко вычислить орбиты двух небесных тел, как только нам даны их массы и расстояние между ними. Однако добавьте еще одно тело, и вычисление орбит, полученных в условиях взаимодействия всех тел, сильно усложняется. Когда же взаимодействуют десять тел (это — *упрощенная* версия нашей Солнечной системы)[767], причем их орбиты точно не повторяются, невозможно предсказать расположение системы тел на длительное время. С каждой новой введенной переменной число разветвляющихся взаимодействий, которые нужно учесть, растет в геометрической прогрессии.

Я думаю, что не погрешу против истины, если скажу, что научное сельскохозяйственное исследование обладает свойством отбирать методы, лежащие в пределах его мощных технологий. К таким методам относится использование чистых культур для максимального увеличения урожаев. С позволения ведомственной власти сельскохозяйственные специалисты, подобно ученым-лесоведам, упрощали окружающую среду, подстраивая ее под свою систему знаний. Формы сельского хозяйства, которые соответствовали их модернистскому эстетизму и политико-административным интересам, тоже, как оказалось, надежно находились в границах их профессиональных научных занятий[768].

Как же быть с «беспорядком» вне царства экспериментального проектирования? Он может оказаться даже выгодным, когда усиливает желаемый эффект[769]. Ведь априори нельзя прогнозировать, какими будут экспериментальные результаты, существенно то, что они полностью лежат вне используемой модели.

Однако иногда эти результаты оказывались не только значительными, но и потенциально угрожающими. Впечатляющим примером периода между 1947 и 1960 г. было обширное повсеместное использование пестицидов, из которых самую дурную репутацию приобрел ДДТ. Распыляя его для уничтожения популяций moskitov, надеялись уменьшить распространение многих болезней, которые переносят вредители. Экспериментальная база для определения концентраций дозировки и условий применения, требуемых для уничтожения популяций moskitov, была в значительной степени ограничена. В сфере непосредственного действия модель была успешна: ДДТ убивал moskitov и существенно уменьшал зону распространения малярии и других заболеваний[770]. Но, как мы с запозданием осознали, он имел и губительные экологические последствия, поскольку оставшийся после его применения осадок поглощался организмами по цепям питания, звеньями которых были, конечно, и люди. Последствия использования ДДТ и других пестицидов в почве, воде для рыб, насекомых, птиц и другой фауны настолько сложны, что мы все еще не исчерпали их до конца.

Слабое периферийное зрение

Часть проблемы состояла в том, что побочные эффекты постоянно множились. Действие первого порядка, например уменьшение или исчезновение местной популяции насекомых, вело к изменениям цветущих растений, что меняло среду обитания для других растений, грызунов и т. д. Другая часть проблемы была в том, что результаты действия пестицидов на другие виды были исследованы только при экспериментальных условиях. Хотя применение ДДТ и шло при реальных *полевых* условиях, как указала Карсон, ученые и понятия не имели, что интерактивные действия пестицидов проявлялись при их соприкосновении с водой и почвой и под влиянием солнечного света.

Мне думается, что осознание этих результатов взаимодействия, появившееся *вне* области самой научной парадигмы, и интересно, и симптоматично. Оно возникло, когда люди обнаружили, что количество певчих птиц заметно уменьшилось. Тревога общественности по поводу того, что *перестало* случаться по ту сторону окон, привела в конечном счете (с помощью научного исследования} к изучению, каким образом концентрация ДДТ в органах птиц привела к хрупкости яичных скорлупок и остановке в воспроизводстве потомства. Это расследование, в свою очередь, стимулировало множество связанных между собой исследований последствий использования пестицидов и, в конечном счете, к законопроекту, запрещающему применять ДДТ. В этом случае, как и в других, сила научной парадигмы потерпела поражение из-за проигнорированных внеэкспериментальных условий, которые, как это и произошло в данной ситуации, нанесли ответный удар.

Логика агроэкономического анализа сельскохозяйственной эффективности и прибыли также утверждает свою власть путем сужения поля зрения. Его инструменты используются с наибольшим преимуществом в исследовании микроэкономики фермы как фирмы. На основе своих заведомо упрощающих предположений о текущих производственных затратах, вложениях, погоде, использовании трудовых ресурсов и ценах агроэкономический анализ может показать, насколько рентабельным может оказаться использование конкретных механизмов, покупка ирригационного оборудования или взращивание той культуры, а не другой. Такие исследования, равно как и маркетинг, нацелены на демонстрацию масштабной экономики, достижимой с помощью больших высококапитализированных и высокомеханизированных производств. За пределами этой узкой перспективы остаются сотни соображений, которые непременно берутся в скобки примерно тем способом, что в экспериментальной практике. Но здесь, в агроэкономическом анализе, люди, принимающие подобный взгляд на вещи, имеют политическую возможность по крайней мере в ближайшее время не нести экономической ответственности за обширные и весьма устойчивые последствия их логики. Образ сельского хозяйства в Соединенных Штатах был четко обрисован в экономическом представлении Конгрессу в 1972 г.

“Только в прошлом десятилетии было уделено серьезное внимание тому факту, что большая сельскохозяйственная фирма... не способна достичь определенных выгод без некоторых затрат. Неудобства крупномасштабной деятельности в значительной степени лежат за пределами

управленческой структуры большой хозяйственной фирмы. Проблемы утилизации отходов, контроля загрязнения среды, дополнительных расходов на коммунальное обслуживание, ухудшения сельских социальных структур, уменьшения налогооблагаемой базы и политических последствий концентрации экономической власти обычно не рассматриваются фирмой как крупномасштабные затраты, а перекладываются на общество в целом. Теоретически крупномасштабная деятельность должна позволять фирме иметь широкий диапазон как расходов, так и выгод внутри ее собственной структуры принятия решений. На деле экономическая и политическая власть, сопутствующая крупномасштабному производству, испытывает постоянное тяготение к большим фирмам, чтобы извлекать выгоды и перекладывать затраты[771].

Другими словами, хотя деловые аналитики сельскохозяйственных фирм и имеют слабое периферийное зрение, политическое влияние, которым обладают подобные фирмы как индивидуально, так и сообща, могут помочь им избежать неожиданных ударов.

Близорукость

Почти все исследования, направленные на оценку новых решений, приносящих прибыль фермерам, — эксперименты, которые длятся один или, самое большее, несколько сезонов. Безусловно, логика, лежащая в основе подобного исследовательского проекта, состоит в том, что отдаленные эффекты не будут противоречить ближайшим результатам. Вопрос временной перспективы исследования вполне значим даже для тех, для кого вопрос максимального увеличения урожаев является чашей Грааля. Пока они заинтересованы исключительно в ближайших доходах от урожаев независимо от последствий своей деятельности, их внимание должно быть направлено на проблему надежности или на доход Хикса. Возможно, наиболее существенное фактическое различие будет не между теми, кто проводит сельскохозяйственную политику, помня о культурных и социальных задачах (таких, как сохранение семейной фермы, ландшафта или его разнообразия), и теми, кто хочет максимально увеличить производство и прибыль, а скорее между производителем, заинтересованным в ближайшем доходе, и производителем, имеющим долгосрочные планы. В конце концов, беспокойство об эрозии почвы и снабжении водой реже мотивировалось сохранением окружающей среды, чем обеспечением надежности производства.

Краткосрочная ориентация в изучении сельскохозяйственных культур и фермерской экономики приводит к исключению отдаленных результатов, которые интересуют производителей. Многие из претензий к поликультурному хозяйству, например, указывают на его чрезмерную длительность как системы производства. При испытании поликультурных посадок в течение 20 лет или более, как предложил Стивен Марглин, можно было бы вполне получить результаты, весьма отличные от полученных при испытаниях продолжительностью в сезон или два[772]. И вполне вероятно, что работа фермеров по открытому опылению и селекции в противоположность гибридизации позволила бы вывести культуры, примерно сравнимые по урожайности с лучшими

гибридами и даже превосходящие их во многих других отношениях, включая доходность[773]. Прибыль (на бумаге) от научно организованных монокультурных лесов, как мы теперь понимаем, была достигнута в значительной степени за счет здоровья и производительности леса. Может быть, следовало бы (так как большинство ферм — семейные предприятия) более внимательно исследовать стабильную экономику, которая принимала бы за аналитическую единицу времени полный цикл одного поколения семьи[774]. Кажется, ничто в логике самого научного метода не требует, чтобы главным вопросом была ближайшая перспектива; скорее даже кажется, что такая перспектива является ответом на ведомственное и, возможно, коммерческое давление. С другой стороны, потребность выделить только несколько переменных, предположив все остальное постоянным и проигнорировав побочные эффекты взаимодействия, лежащие вне экспериментальной модели, вполне вписывается в научный метод. Это является условиями ясности, которой научный метод достигает в пределах своего поля зрения. Взятые вместе части пейзажа, закрытые в результате действующей научной практики слепым пятном, периферическим и отдаленным зрением, составляют внушительную часть реального мира.

Упрощенные методы научного сельского хозяйства

Некоторые урожаи более равны, чем другие

Современное сельскохозяйственное исследование вообще движется в таком направлении, в котором выход продукта с единицы вложений был бы основной заботой фермера.

Предположение чрезвычайно удобное: подобно коммерческой древесине научного лесоводства, полученные родовые, гомологичные, однородные продукты потребления в итоге допускают как количественные сравнения объемов урожая при различных методах культивирования, так и совокупную статистику. Знакомые таблицы возделанной площади земли, урожаев с акра и общего объема продукции по годам, как правило, решающие показатели успеха в программе развития.

Но то допущение, что любой рис, всякая кукуруза и каждое просо «одинаковы», какими бы они ни были удобными, на самом деле несостоятельно относительно любой культуры, если только она не является *в чистом виде* товаром для торговли на рынке[775]. Каждый сорт зерна отличается не только особенностями выращивания, но и своими качествами. Среди некоторых народностей одни сорта риса выращиваются для приготовления только особых блюд, другие могут использоваться только для определенных ритуальных целей или в качестве местного финансового инструмента. К некоторым из сложных соображений, которые принимаются во внимание при различении видов риса по вкусовым качествам, можно приобщиться благодаря наблюдениям Ричардса в Сьерра-Леоне (Западная Африка):

“ Фраза типа «этот сорт риса плох в приготовлении» часто вмещает в себя диапазон свойств, связанных с хранением, приготовлением и потреблением, находящихся далеко за пределами субъективных вопросов «вкуса». Хорошо ли подходит рассматриваемый сорт к местной практике приготовления пищи? Легко ли он шелушится, полируется и размалывается? Сколько воды и топлива потребуется для его приготовления? Как долго можно его хранить до приготовления и после? Женщины народности менде утверждают, что сорта полированного болотного риса сильно теряют свои вкусовые качества при вторичном разогревании по сравнению с твердыми «нагорными» сортами риса. Верно

выбрав сорт риса, можно сократить время, необходимое для приготовления пищи в рабочее время. Поскольку оно иногда занимает 3—4 часа в день (включая время, затраченное на очистку риса от шелухи, разведение огня и таскание воды), это не столь маловажный фактор при дефиците рабочей силы[776].

До сих пор нас интересовало только само зерно. Попробуем расширить кругозор и рассмотреть остальные части растений. Мы сразу увидим, что с выращиванием данного растения связано намного больше в плане практического использования, чем только со сбором зерна. Внимание крестьянки из Центральной Америки может привлечь не только количество и размер кукурузных початков, которые она собирает. Интерес для нее могут представлять также кукурузные кочерыжки, используемые для корма скоту и изготовления жестких скребущих щеток; шелуха и листья для обертки, соломы и фуража; стебли в качестве шпалер для вьющихся бобов, фуража, а также для временной ограды. Тот факт, что фермеры Центральной Америки знают намного больше сортов кукурузы, чем их коллеги в Кукурузном поясе Соединенных Штатов, частично связан с многообразием ее практического использования. Кукуруза может быть продана на рынке для любой из вышеуказанных целей и, таким образом, оценена и за другие качества, кроме зерновых початков. Это относится, по сути, к любой широко распространенной культуре. Различные части растения, полученные на различных стадиях его роста, могут быть использованы как бечевка, овощные красители, лекарственные припарки, для еды в сыром или вареном виде, как упаковочный материал, подстилка для скота или изделия для ритуальных или декоративных целей.

Получается, что даже с коммерческой точки зрения ценность растения не только в его плодах. Да и не всякое зерно разных видов и гибридов кукурузы и риса одинаково по качеству. Поэтому урожай семян по весу или объему может быть только одной из многих характеристик культуры, и, возможно, не самой важной для земледельца. Но как только научное сельское хозяйство или растениеводство начинает пытаться представить себе этот огромный диапазон ценностей и использовать его в своих собственных вычислениях, оно сразу оказывается в ньютоновской дилемме десяти небесных тел. И даже если бы оно было способно отразить хоть некоторые аспекты этой сложности в своих моделях, применение их изменялось бы самым неожиданным образом.

Опытные участки в сравнении с реальными полями

Как мы уже ранее отмечали, окружающая среда в каждой конкретной местности всегда неповторима. Всегда найдется что-то такое, что можно назвать проблемой перевода с характерной стандартизированной латыни Высокой Церкви, на которой написаны сообщения, рассылаемые из лабораторий и опытных станций для использования окрестным народом. Стандартизированные решения о полевых подготовительных работах, графики высадки растений и потребность в удобрениях всегда должны быть тщательно подготовлены, скажем, к каменистому, низменному, обращенному на север полю, с которого только что собрали два урожая овса. Как и всякие специалисты прикладной науки,

сельскохозяйственные ученые на опытных станциях и консультанты по вопросам сельского хозяйства очень хорошо осознают эту задачу перевода. Вопрос всегда состоит в том, как найти и приспособить подходящие решения таким образом, чтобы они были полезны для фермеров. Когда эти находки или решения не просто навязываются, фермер сам должен решить, отвечают ли они его потребностям.

Подобно кадастровым картам, экспериментальные участки сельскохозяйственных опытных станций не могут отвечать за представление всего разнообразия и изменчивости фермерских полей. Исследователям приходится работать на основе стандартных предположений о почве, полевой подготовке, результатах прополки, осадках, температуре и т. д., принимая во внимание, что поле каждого фермера представляет собой уникальное стечение обстоятельств, действий и явлений, отдельные из которых известны заранее (состав почвы), а некоторые непредсказуемы (по годам). *Взаимодействия* этой и других переменных по крайней мере столь же важны, как и значение каждой из них; так, последствия раннего муссона на каменистой почве, которую только что пропололи, отличны от наблюдаемых на затопленной и заросшей сорняками земле.

Средние объемы и нормативы экспериментальной работы затевают тот факт, что усредненные годовые характеристики погоды или стандартная почва — статистические фикции. Вот как это отмечает Уэнделл Берри:

“Промышленная версия сельского хозяйства предполагает, что оно много раз в году ставит фермера перед одним и тем же рядом проблем, причем для каждой из них существует всегда одинаковое обобщенное решение, и, следовательно, это промышленное решение он может принять просто и без риска. Но это неправда. На хорошей ферме ввиду погодных условий и других так называемых переменных ни ежегодный набор проблем, ни любая из них отдельно никогда не бывают одинаковыми в течение двух лет. Хороший фермер (подобно хорошему художнику, футбольному защитнику, государственному деятелю) должен владеть многими вариантами допустимых решений, одно из которых он должен выбрать под воздействием условий ситуации и умело применить его в нужном месте и в верное время[777].

Почва, хотя она не так капризно изменчива изо дня в день, как погода, часто сильно меняется в пределах одного и того же поля. Существенные упрощения сельскохозяйственной науки требуют, чтобы сначала почва была классифицирована по небольшому числу характеристик, основанных на кислотности, уровне содержания азота и других свойствах. Для почвенного анализа отдельного поля необходимо было собрать образцы на нескольких участках этого поля и объединить их для анализа, таким образом он представляет средние характеристики почвы. Эта процедура неявно признает существенное изменение почвы по данному полю. Поэтому рекомендации по выбору удобрения не могут быть верными для *любой* части поля, но по сравнению с рекомендациями, основанными на других критериях, они будут в среднем «менее

неверными» для поля в целом. Еще раз Берри предостерегает нас против подобных обобщений: «Большинство ферм и даже большинство полей различаются по видам и типам почв. Хорошие фермеры всегда это знали и использовали землю соответственно; они заботливо изучали ее растительное естество, состав почвы, а также ее структуру, уклон и дренаж. Они не пользовались обобщениями, ни теоретическими, ни методологическими или техническими»[778]. Если же к сложности и изменчивости состояний почвы добавить практику ведения поликультурного хозяйства, препятствия для успешного применения общей практической формулы станут фактически непреодолимыми. Те знания, которые мы имеем о допустимых пределах температуры и влажности для некоторых растений, вовсе не гарантируют, что они будут обязательно хорошо себя чувствовать в этом диапазоне. Обычное растение «ужасно привередливо к тому, где именно и в какое время оно будет произрастать и при каких точных условиях оно даст новые побеги, — объясняет Эдгар Андерсон. — Более сложная сторона дела — с какими растениями оно захочет или откажется соседствовать и на каких условиях — вообще никогда не разбиралась, кроме как при предварительном изучении нескольких растительных разновидностей»[779].

Обычно местные фермеры озабочены микроскопическими особенностями ландшафта и окружающей среды, считая их важными факторами в земледелии. Два примера из анализа сельского хозяйства Западной Африки, сделанного Ричардсом, могут служить иллюстрацией того, что мелкие детали слишком сиюминутны, чтобы быть заметными в пределах стандартизационной сетки. Среди сбивающего с толку разнообразия местных маломасштабных ирригационных методов Ричардс классифицирует по меньшей мере 11 различных видов, причем некоторые имеют подвиды. Все зависит от характеристик местной топографии, почвы, паводка, осадков и т. д., данный тип ирригации используется в зависимости от того, чем является территория: сезонно затопляемой дельтой реки, низиной, по форме схожей с блюдцем и имеющей бедный дренаж, или болотистой долиной, удаленной от границ. Эти маленькие «системы», использующие преимущество реального знания местности, сильно отличаются от обширных проектируемых схем, которые не прилагают никаких усилий, чтобы откорректировать технический план в соответствии с ландшафтом.

Второй пример Ричардса показывает, как западноафриканские фермеры аргументировали собственный выбор сорта риса для посадки, помогающий справиться с местными трудностями. Фермеры народности менде в одной части Сьерра-Леоне, не обращая внимания на советы учебника о сортах риса, которые следовало бы предпочесть, выбирали тот вариант, который имеет длинные колосковые ости (пучок щетинок, или щетинник) и шелуху (кроющая часть злака). Доводы учебника, вероятно, состояли в том, что такие сорта дают меньший урожай или что ость и шелуха просто добавят больше соломенной сечки, которую придется потом отвеивать после молотбы. Фермеры же исходили из того, что длинные ости и шелуха мешают птицам склевывать большую часть риса до того, как его успевали приготовить для молотбы. Такие детали, касающиеся ирригации или ущерба, наносимого птицами, существенны для местных земледельцев, но они игнорируются в амбициозных схемах современного сельскохозяйственного планирования.

Многие критики научного сельского хозяйства говорили не только о том, что оно постоянно поддерживает крупномасштабное производство, ориентированное на монокультуру, но и о

том, что его исследовательские находки весьма ограниченно применяются на местах, поскольку все сельское хозяйство имеет локальный характер. Говард выдвигал аргументы в пользу совершенно иной практики, основывая ее на двух посылах. Первая состояла в том, что опытные участки не могут давать полезные результаты.

“Маленькие участки и фермы — очень различные объекты. Невозможно руководить небольшим участком как отдельной единицей таким же образом, каким управляется хорошая ферма. Существенная связь между домашним скотом и землей потеряна; нет средств для поддержания плодородия почвы с помощью чередования культивируемых полей, что является правилом ведения хорошего хозяйства. Участок и ферма явно не имеют связи; участок даже не представляет собой всего поля, на котором он находится. Объединение полевых участков тоже не может решить сельскохозяйственную проблему, которую предполагается исследовать... Какие же преимущества можно получить, применив высшую математику к практике, которая по сути своей несостоятельна?”[780]

Суть второй посылки Говарда в том, что многие из наиболее важных признаков хозяйства и состояния урожая являются *качественными*: «Может ли взаимодействующая система, например, подобная сельскохозяйственной культуре и почве, которая зависит от множества факторов, меняющихся от „недели к неделе“ и от „года к году“, когда-либо быть организованной так, чтобы давать количественные результаты, соответствующие расчету с математической точностью?»[781]. Как считает Говард, опасность состоит в том, что узко экспериментальный и исключительно количественный подход может полностью вытеснить другие формы местных знаний и сведений, которыми обладает большинство земледельцев.

Но, как мне кажется, Говард и другие исследователи упускают из виду наиболее важный вывод из экспериментальной работы в научном сельском хозяйстве. Как мы можем определить, насколько полезна эта исследовательская деятельность, пока мы не знаем, где применяют ее результаты земледельцы? Полезной для чего? Ответ находится на уровне человеческого фактора, где научное сельское хозяйство строит свою самую большую абстракцию: создание шаблонной личности, рядового земледельца, заинтересованного только в получении наибольших урожаев при наименьших затратах.

Воображаемые и реальные фермеры

Не только погода, сельскохозяйственные культуры и почва сложны и изменчивы, это в полной мере относится и к фермеру. Год за годом, а зачастую и день ото дня миллионы земледельцев преследуют бесчисленное множество сложных целей. Эти цели и их постоянное переплетение бросают вызов любой простой модели или проекту.

Выгодное производство одной или более основных сельскохозяйственных культур, являющихся обычным стандартным набором сельскохозяйственного исследования, по-видимому, является единственной целью, преследуемой большинством земледельцев.

Однако поучительно понаблюдать, как глубоко опосредствована эта цель другими целями, которые вполне могут подменить ее. Вот очень поверхностное изложение имеющихся сложностей.

Каждое фермерское семейство имеет свой уникальный ресурс земли, навыков, инструментов и рабочей силы, которые оказывают значительное влияние на ведение хозяйства. Рассмотрим только один аспект — обеспеченность трудовыми ресурсами: «богатое рабочей силой» хозяйство, с большим числом крепких молодых рабочих, может выращивать трудоемкие сельскохозяйственные культуры, соблюдать графики работ и устраивать подсобные ремесленные мастерские, недоступные хозяйствам с «бедной рабочей силой». Кроме того, семейное хозяйство проходит несколько стадий в ходе развития семейного цикла[782]. Фермеры, уезжающие на сезонные заработки, в соответствии со своим миграционным графиком могут выращивать сельскохозяйственные культуры раннего или позднего срока созревания или культуры, требующие небольшого ухода.

Как мы уже видели, прибыль от конкретного урожая может зависеть от большего числа факторов, чем сам урожай в зерне и его стоимость. Основной целью может быть стерня как фураж для домашнего скота или водоплавающей птицы. Важным может быть возвращение какой-то определенной культуры, если учитывать, что она дает почве попеременно с другими сельскохозяйственными культурами или как она помогает развитию другой культуры, с которой она смешана в посадках. Зерновая культура может менее цениться за свое зерно, чем за то, чем она снабжает: скажем, за сырье для кустарного производства, не важно, продается ли то сырье на рынке или используется дома. Семейства, имеющие доход, близкий к прожиточному минимуму, могут выбирать свои культуры исходя не из их доходности, а из того, насколько устойчивы их урожаи и можно ли будет пустить их на питание, если рыночные цены упадут.

До сих пор мы рассматривали сложности, которые можно представить, по крайней мере в принципе, сильно измененным неоклассическим понятием экономической максимизации, даже при том, что для этого потребовалось бы выработать довольно сложную модель. Но когда добавляются такие понятия, как эстетика, обряды, вкус, а также социальные и политические соображения, это уже невозможно. Существует множество совершенно рациональных, но внеэкономических причин для выращивания некоторого урожая определенным способом: то ли из-за желания поддерживать хорошие отношения с соседями, то ли потому, что конкретная культура связана с групповыми интересами. Такие характерные методы земледелия прекрасно сочетаются с коммерческим успехом, что наглядно демонстрирует опыт амишей, меннонитов и гуттеритов. Покуда имеется в виду высокий уровень абстракции «семейной фермы», на который работает научное сельскохозяйственное исследование, нужно обратить внимание на то, что в большей части мира принятие практических методов почти на любой ферме потребует определения целей всех членов семьи. Каждое семейное предприятие при более близком рассмотрении является партнерством, хотя обычно и неравноправным, с собственной внутренней политикой.

Наконец, понятия «фермер» и «фермерское хозяйство» в каждой своей составляющей столь же запутанны и изменчивы, как погода, почва и пейзаж. Их увязка даже более проблематична, чем, скажем, анализ почвы. Причина, я думаю, в том, что, хотя знания и опыт фермера иногда могут подвести его в оценке своей собственной почвы, его компетентность в своем собственном мнении и интересе сомнению не подлежит[783].

Сложность и гибкость методов землевладения по обычаю не могут быть пристойным образом загнаны в смирительную рубашку современного закона о земельной собственности, равно как и не могут быть достойно отображены на языке стандартов научного сельского хозяйства сложные мотивы и цели земледельцев и земля, на которой они ведут свое хозяйство. Схематические представления, столь важные для экспериментальной работы, могут породить (и уже породили) новые важные научные понятия, которые, соответственно приложенные, были включены в большинство установившихся практик сельского хозяйства. Но такие абстракции, подобно абстракциям свободного землевладения, сильно искажают реальность, оказывая на нее обратное влияние. Их применяют лишь для организации исследования и получения результатов, наиболее подходящих к хозяйствам, которые удовлетворяют схематизации: это большие хозяйства, применяющие монокультурные посадки, механизированные, коммерческие, направленные исключительно на нужды рынка. Кроме того, такая стандартизация обычно связана с политикой налоговых стимулов, ссуд, ценовой поддержки, маркетинговых субсидий и, что существенно, с невыгодными условиями, навязываемыми не соответствующим схематизации предприятиям, и систематически способствует заталкиванию действительности в сетку стандартизованных наблюдений. Этот эффект несравним с шоковой терапией кампании советской коллективизации или деревень уджамаа, которые больше полагались на кнут, чем на пряник, но в перспективе такая мощная система может менять и действительно меняет картину реальности.

Сравнение двух сельскохозяйственных ЛОГИК

Если реальная логика сельского хозяйства следует изобретательному практическому приспособлению хозяйственной практики к сильно изменчивой окружающей среде, то логика научного сельского хозяйства заключается в максимально возможном приспособлении окружающей среды к своим централизующим и стандартизирующим формулам. Благодаря изыскательской работе Яна Дауве ван дер Плега теперь можно пояснить, как работает эта логика на примере возделывания картофеля в Андах[784]. Ван дер Плег называет местную практику выращивания картофеля «кустарной»[785]. Земледелец, работая в исключительно разнообразной экологической среде, стремится не только успешно приспособиться к ней, но и постепенно ее улучшить. Знания и умения фермеров Анд позволили им добиться весьма ценных результатов как с чисто производственной точки зрения, так и с позиций надежности и сохранности урожая. Типичный фермер возделывает где-то от 12 до 15 отдельных участков на основе чередования земель[786]. Из-за широкого разнообразия условий (высота нахождения участка, почвенный состав, история его возделывания, наклон, ориентация к ветру и солнцу) каждое поле можно считать уникальным. В подобном контексте само представление о «стандартном поле» — пустая абстракция. «На одних полях выращивают только одну культуру, на других — от двух до десяти, иногда смешанных в одном и том же ряду, а иногда чередующихся рядами»[787]. Каждая культура по-своему полезна.

Разнообразие культур позволяет экспериментировать на местах с новыми сортами и гибридами, фермеры обмениваются ими и оценивают каждый из них, и многие полученные таким образом картофельные сорта становятся известными благодаря своим уникальным характеристикам. От появления нового сорта до его практического использования на полях проходит по меньшей мере пять-шесть лет. Каждый сезон предоставляет возможность нового раунда правильной работы, тщательно продуманной заранее, с учетом итогов урожая, цен, заболеваний картофеля и изменения условий на участке по сравнению предыдущим годом. Такие хозяйства представляют собой ориентированные на рынок опытные станции с хорошими урожаями, большой адаптируемостью и надежностью. Возможно, еще более важно, что эти хозяйства не только выращивают культуры — они воспроизводят фермеров и сообщества с навыками растениеводов-селекционеров, гибкой стратегией, экологическими знаниями, а также уверенных в себе и независимых.

Сравните логику такого «кустарного» производства картофеля с логикой, свойственной научному сельскому хозяйству. Процесс начинается с выбора растения идеального типа. «Идеал» определяется главным образом по урожаю. Затем профессиональные растениеводы-селекционеры начинают синтезировать сорта, которые можно объединить, чтобы сформировать новый генотип с желательными характеристиками. Тогда и только тогда сортовые растения начинают выращивать на опытных участках, чтобы определить условия, в которых будет реализован потенциал нового генотипа. Иными словами, основной метод научного сельского хозяйства является обратным кустарному производству в Андах, где земледелец *начинает* с участка, его почвы и его экологических данных, а только потом выбирает или совершенствует сорта, которые, вероятнее всего, будут хорошо расти в подобных условиях. В таком сообществе разнообразие культурных сортов в значительной степени отражает разнообразие как местных потребностей, так и экологических условий. В научном выращивании картофеля, напротив, отправной точкой служит новый сорт или генотип, при выращивании которого прилагаются все усилия, чтобы поле отвечало определенным требованиям генотипа.

Логика, при которой начинают с идеального генотипа и потом преобразовывают природу для согласования с условиями его роста, имеет некоторые предсказуемые последствия. Вся последующая работа по существу представляет попытку переделки фермерского поля для соответствия генотипу данного растения. При этом обычно требуются азотные удобрения и пестициды, которые должны быть приобретены заранее и применены в верное время. Как правило, также требуется режим полива, который, по-видимому, во многих случаях может обеспечить только ирригационная система[788]. Выбор времени для всех операций (посадка, возделывание, внесение удобрения и т. д.) скрупулезно регламентируется. Логика такой практики — логика, даже отдаленно не проверенная на земле, должна преобразовать всех земледельцев в «стандартных» фермеров, выращивающих определенный генотип на определенных почвах спланированных полей и руководствующихся инструкциями, напечатанными на семенных пакетах, об определенных удобрениях, пестицидах и требуемом объеме воды. Это и есть логика гомогенизации и действенного ограничения местного знания. На том уровне, где эта гомогенизация успешна, генотип, вероятно, короткое время будет преуспевать в смысле производственных достижений. И наоборот, там, где такая гомогенизация невозможна, генотип потерпит неудачу.

Если работа сельскохозяйственного специалиста состоит в том, чтобы довести фермерские участки до единого состояния, которое позволит проявить перспективы нового культурного сорта, нет нужды в дальнейшем обращать внимание на большое разнообразие условий (при неизменности некоторых из них) на фермерских полях. Гораздо удобнее попытаться навязать научную абстракцию полям (и жизни фермеров), чем собирать фактические данные снизу, осложняющие простое унитарное исследовательское решение. При неподатливом экологическом разнообразии Анд такое решение было бы губительным[789]. Сельскохозяйственные специалисты редко задают себе вопрос (как это сделал задолго до революции русский агроном С.П. Фридолин), а не могли ли они в своей работе пойти неверным путем: «Он осознал, что его работа фактически наносила вред крестьянам. Вместо того, чтобы изучить местные условия и *только потом* внедрять сельскохозяйственную практику, подходящую для этих условий, он попытался «усовершенствовать» местные методы ведения хозяйства таким образом, чтобы они были

сообразны абстрактным стандартам»[790]. Не удивительно, что научное сельское хозяйство склонно одобрять большие искусственные проекты и сооружения — ирригационные схемы, огромные спланированные поля, инструкции по применению удобрений, оранжерей, пестицидов, которые позволяют гомогенизацию и управление природой, чтобы поддерживать «идеальные» экспериментальные условия для избранных генотипов.

Здесь, я думаю, скрыт еще более важный урок. Явный набор инструкций эффективен лишь в стандартных ситуациях. Чем статичнее и одномернее стереотип, тем меньше нужды в его творческой интерпретации и адаптации. В Андах, заключает ван дер Плег, «правила» обращения с новым сортом картофеля были настолько узкими, что оказались просто непереводаемыми на разнообразные диалекты местного сельского хозяйства. Одна из главных целей государственных упрощений — коллективизации, конвейерных линий, плантаций и запланированных сообществ — свести действительность до такого наипростейшего состояния, чтобы правила были справедливы для большей части ситуаций и обеспечивали руководство к действию. На том уровне, где возможно подобное упрощение, те, кто создают правила, *могут* на деле снабжать руководством и инструкциями. Во всяком случае такова внутренняя логика социально-экономической и производственной декалфикации. Если окружающую среду можно упростить до такого состояния, где правила действительно играют столь большую роль, значит, те, кто формулирует эти правила, расширили свою власть и, соответственно, уменьшили власть всех прочих. На том уровне, где они преуспели, земледельцы с высокой степенью независимости, имеющие навыки, опыт, уверенность в своих силах и способность к адаптации, заменены на строго следующих инструкциям. Такое ограничение в разнообразии, действиях и существовании, по определению Джекобс, представляет своего рода социальную таксидермию.

Новый картофельный генотип, как показывает ван дер Плег, обычно терпит неудачу, если не сразу, то в пределах трех или четырех лет. В отличие от множества местных разновидностей, новый культурный сорт может быть успешным при более узком наборе окружающих условий. Другими словами, должно выполняться *много* ограничений, чтобы новый сорт дал хороший урожай, и если любое из этих условий выполняется не так, как надо (слишком долгая жара, поздняя доставка удобрения и т. д.), урожай сильно страдает. В течение нескольких лет новые генотипы «станут неспособными к воспроизводству продукции даже в малых количествах»[791].

Однако на самом деле большинство крестьян Анд не являются ни чисто традиционными земледельцами, ни бессмысленными последователями ученых специалистов. Наоборот, их методы представляют собой уникальные практические сплавы стратегий, которые отражают их цели, средства и местные условия. Если новые сорта картофеля соответствуют их целям, они могут посадить некоторые из них, но, вероятнее всего, они смешают их в посадках с другими сортовыми культурами, а также используют органическое удобрение или произведут вспашку плодородного травяного поля (люцерна, клевер), а не применят стандартный пакет удобрений. Они постоянно изобретают и экспериментируют с различными севооборотами, выбором подходящего времени и методами прополки. Но из-за именно этой особенности тысяч подобных «приусадебных экспериментов» и преднамеренного игнорирования их специалистами такая практика не рассматривается как научное исследование. Являясь по натуре политеистами, фермеры, когда дело доходит до

сельскохозяйственной практики, быстро перенимают все, что кажется им полезным, из работы эпистемологической формальной науки. Зато ученые-исследователи, воспитанные монотеистами, кажутся почти неспособными к восприятию неформальных экспериментальных результатов практики.

Заключение

Не стоит удивляться тому огромному доверию к высокомодернистскому сельскому хозяйству, которое было у его приверженцев и специалистов-практиков. Это доверие обязано беспрецедентно высокой производительности сельского хозяйства на Западе, а также мощи и престижу научных и индустриальных революций. Поэтому не удивительно, что догмы высокого модернизма, как талисманы истинной веры, обычно принимались во всем мире некритически и с твердым убеждением, что именно они осветили путь к сельскохозяйственному прогрессу[792]. Я полагаю, что эта некритическая и, следовательно, ненаучная вера в факты и методы того, что стало кодифицироваться как научное сельское хозяйство, и несет ответственность за его неудачи. Логическим следствием слепой веры в квазииндустриальную модель высокомодернистского сельского хозяйства зачастую было явное неуважение к методам истинных земледельцев и к тому, чему можно было научиться у них. Поскольку истинно научный подход требует скептического и беспристрастного исследования этих методов, современное сельское хозяйство, будучи носителем слепой веры, проповедовало презрение к ним и в итоге неприятие.

Следовало более внимательно отнестись к деятельности реальных земледельцев в Западной Африке, да и вообще всех, экспериментирующих всю жизнь, ведущих сезонные опыты на своих приусадебных участках, результаты которых они объединяли в свой постоянно эволюционирующий набор методов. Поскольку эти экспериментаторы были окружены сотнями и тысячами других местных экспериментаторов, они делились исследовательскими находками и багажом знаний предыдущих поколений, систематизированных в народной мудрости, можно сказать, что они имели мгновенный доступ к внушительной исследовательской библиотеке. В то же время бесспорен и тот факт, что они выполняют большинство своих экспериментов без надлежащей проверки и потому предрасположены к ложным заключениям по поводу своих результатов. Они также ограничены в материалах для научных исследований; от них неизбежно ускользают наблюдаемые только в лаборатории микропроцессы. Также нет уверенности, что экологическая логика, которая, кажется, хорошо срабатывает на отдельной ферме на протяжении долгого периода, даст в совокупности надежные результаты для всего региона.

Однако с другой стороны — и это тоже важно — западноафриканские земледельцы имеют в своем распоряжении всю жизнь для скрупулезного наблюдения за местными условиями, а также превосходное, собранное по крупицам знание среды, на которое не может и надеяться никакой ученый-исследователь. И позвольте обратить внимание на то, какие они экспериментаторы. Их жизни и жизни их семейств напрямую зависят от результатов их полевых экспериментов. Учитывая эти важные преимущества их положения, можно было вообразить, что сельскохозяйственные ученые примут во внимание действительные знания этих фермеров. Неспособность ученых на это, утверждает Говард, является большим недостатком современного научного сельского хозяйства: «Подход к проблемам сельского хозяйства должен начинаться с поля, а не с лаборатории. Успех в открытии существенных

фактов практически полный. При этом наблюдательный фермер и крестьянин, который всю свою жизнь прожил в близком контакте с природой, могут оказать наибольшую помощь исследователю. Мнения и взгляды крестьянства во всех странах достойны уважения; всегда есть серьезное основание для их методов; в некоторых вопросах, вроде культивирования смешанных видов, они до сих пор являются новаторами»[793] Говард поверяет большинство своих собственных результатов относительно почвы, перегноя и взаимодействия корней скрупулезными наблюдениями местной практики. И он с пренебрежением относится к тем сельскохозяйственным специалистам, которым «не приходилось делать выбор самим», т. е. тем, которым никогда не приходилось наблюдать свою собственную культуру от посадки до сбора урожая[794].

Откуда тогда *антинаучное* презрение к практическому опыту? Для него имеются по крайней мере три причины. Первая — «профессиональная», упомянутая ранее: чем больше знает земледелец, тем меньшую значимость представляют для него специалист и его ведомства. Вторая причина является простым следствием высокого модернизма, презрения к истории и прошлому опыту. Поскольку ученый всегда связан с современным опытом, а местный земледелец — с прошлым, который модернизм игнорирует, ученый полагает, что он не многому научится из этого источника. Третья причина состоит в том, что практическое знание представлено и кодифицировано в форме, непроницаемой для научного сельского хозяйства. С узко понятой научной точки зрения, *ничего* нельзя утверждать до тех пор, пока это не доказано в жестко управляемом эксперименте. Знание, которое приходит в любой форме из других источников, кроме как методов и средств формального научного процесса, не заслуживает серьезного внимания. Имперская претенциозность научного модернизма признает знание только в том случае, если оно приходит через апертуру, созданную экспериментальным методом для допуска информации. Традиционные методы, излагаемые на простом народном языке, заведомо выглядят не заслуживающими внимания, не говоря уже о их верификации.

И все же, как мы видели, земледельцы изобрели и усовершенствовали множество методов, которые позволяют получать нужные результаты в производстве урожая, защите от сельскохозяйственных вредителей, сохранении почвы и т. д. Постоянно наблюдая за результатами своих полевых экспериментов и сохраняя те методы, которые достигают цели, фермеры открыли и усовершенствовали практику ведения хозяйства без знания точных химических или физических причин своего действия. В сельском хозяйстве, как и во многих других сферах, «практика долгое время предшествовала теории»[795]. И в самом деле, некоторые из этих успешных способов действия, которые на деле учитывают большое число одновременно взаимодействующих переменных, никогда не могут быть полностью описаны научными методами. Поэтому мы обращаемся к более тщательному исследованию практического опыта, знания особого рода, которое во вред себе проигнорировал высокий модернизм.